Михаил Булгаков

Знаменитые украинцы

FOLIO

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Михаил Афанасьевич Булгаков родился в Киеве. Закончив медицинский факультет Киевского университета, он отправился работать в самую глубинку Российской империи. Уже тогда рождались сюжеты рассказов о нелегкой жизни земского врача, которые позже легли в основу сборника «Записки на манжетах». Со временем Булгаков оставляет врачебную практику и полностью посвящает себя литературе.

Несмотря на то, что Михаил Афанасьевич написал множество рассказов, пьес, романов, широкая известность на родине, а затем и мировая слава пришли к нему лишь спустя почти 30 лет после его смерти — с публикацией в 1968 г. главного романа его жизни «Мастер и Маргарита». Сегодня произведения Булгакова постоянно переиздаются, по ним снимают художественные фильмы, спектакли по его пьесам — в репертуаре многих театров.

- Ольга Таглина

Ольга Таглина
Михаил Булгаков

Булгаков не только один из самых читаемых писателей современности — он личность невероятно притягательная и цельная, что проявилось во всем его творчестве. Откуда эта притягательность для людей самых разных поколений? Поскольку все мы родом из детства, то, может быть, в детстве Михаила Булгакова и кроются те истоки, которые позволили ему стать именно таким?

Детство писателя прошло в красивом городе со славной и необычной историей — Киеве, и даже имя ему дали в честь хранителя Киева — архангела Михаила. В своих произведениях слово «Город» Булгаков часто писал с большой буквы, подразумевая Киев.

В романе «Белая гвардия» картина Города нарисована так образно, что видишь каждый его дом, каждое дерево его садов, каждый камешек его мостовых и, одновременно, неожиданную перспективу, где «седые пороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнее море».

Вот он, Город детства и юности Булгакова: «Как многоярусные соты, дымился, и шумел, и жил Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром… Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом. И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами, кленами и липами. Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром, и, уступами поднимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами солнечных пятен, порою в нежных сумерках, царствовал вечный Царский сад. Старые сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, заметенные вьюгою, падали на нижние далекие террасы, а те расходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи над шоссе, вьющиеся по берегу великой реки, и темная скованная лента уходила туда, в дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз…»

В этом Городе 3(15) мая 1891 года в семье преподавателя Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова и его жены Варвары Михайловны, в девичестве Покровской, родился их первенец Михаил. Всего же в этой семье выросло семеро детей.

Родители Булгакова происходили из старинных семей священнослужителей и купцов: Булгаковых, Ивановых, Покровских, Турбиных, Поповых. Фамилию бабушки по матери, Анфисы Ивановны Турбиной, писатель впоследствии подарил своим любимым героям романа «Белая гвардия» и пьесы «Дни Турбиных».

Афанасий Иванович — отец Булгакова, статский советник, профессор Киевской духовной академии по кафедре истории западных вероисповеданий — был человеком незаурядным. Огромная трудоспособность сочеталась в нем с ярко выраженной одаренностью. Он знал языки — и древние, и новые, у него был живой, легкий слог, он много и с увлечением писал. Он был добр к людям по-настоящему, без всякой излишней сентиментальности. Судя по его работе «Французское духовенство» и другим статьям, Афанасий Иванович был приверженцем христианских идеалов братства, равенства и свободы, мечтал об устроении общества согласно нравственному закону.

В год рождения первого сына Афанасий Иванович Булгаков был молодым доцентом академии. Карьера преподавателя духовной академии — доцента, экстраординарного, потом ординарного профессора — была почетной. Но своим детям он стремился дать светское образование.

Об отце с нежностью написала в своих воспоминаниях его дочь Надежда Афанасьевна. Она вспоминала, как в 1900 году родители купили дачный участок в две десятины леса в поселке Буча под Киевом, и на этом участке под наблюдением отца была выстроена дача в пять комнат и с двумя большими верандами.

Афанасий Иванович был хорошим семьянином, старался дать жене и детям полноценный летний отдых. В первый же год жизни в Буче он сказал жене: «Знаешь, Варечка, а если ребята будут бегать босиком?» Варвара Михайловна согласилась, и дети с восторгом разулись и начали бегать по дорожкам, по улице и даже по лесу.

Родители никогда не говорили детям: «Ах, что ты читаешь? Ах, что ты взял?» В доме было множество книг, в том числе и классиков русской литературы, детские книги, иностранная литература, так что детям было из чего выбрать.

Афанасий Иванович обладал огромной трудоспособностью. Он уезжал с дачи в Киев на экзамены, а вернувшись, снимал сюртук, надевал простую русскую рубашку-косоворотку и шел расчищать участок под сад или огород. Вместе с дворником он корчевал деревья и уже один, без посторонней помощи, прокладывал на участке дорожки, а дети помогали убирать

снятый дерн, песок. При этом следует напомнить, что участок был немаленький — в две десятины. Словом, Афанасий Иванович с большой любовью устраивал домашнее гнездо.

Его жена, Варвара Михайловна, была жизнерадостной, образованной и мудрой женщиной. Она сумела не просто вырастить своих детей, но сплотить их, дать им всем образование, сформировать в них творческое и нравственное начало. Варвара Михайловна говорила так: «Я не могу вам дать приданое или капитал. Но я могу вам дать единственный капитал, который у вас будет, — это образование». Дальнейшая судьба всех детей Булгаковых показала, что они активно использовали это бесценное наследство и проявили себя на очень разных поприщах, их прекрасное образование сочеталось с талантом, трудолюбием, а порой и самоотверженностью.

В своих воспоминаниях Надежда Афанасьевна пишет, что мать была, конечно, незаурядной женщиной. Она рассказывала детям сказки, которые всегда сама сочиняла, и к тому же вела семью твердой и умелой рукой. Была требовательна, но не стесняла свободы детей, доверяла им. И дети со своей стороны были с нею очень откровенны. У Булгаковых не было того, что встречается порой в других семьях, — недоверия. В доме часто бывали товарищи братьев, поклонники дочерей. Так, к примеру, когда дочь Надежду спрашивали: «Надя, вам надо писать до востребования?» — она отвечала: «Зачем? Пишите, если вы хотите мне писать, на нашу квартиру». — «Как? А мама?» — «А что мама? Мама наших писем не читает»…

Варвара Михайловна действительно не читала писем, адресованных детям, но они сами ей читали и рассказывали, если им хотелось с ней чем-нибудь поделиться. В разговорах с матерью затрагивались и житейские, и весьма широкие вопросы мировоззрения, науки, искусства. Миша, например, любил поражать мать, как и других своих собеседников, парадоксальностью, оригинальностью суждений, едкой иронией; говоря с ней, он любил ниспровергать общепризнанные авторитеты.

Именно мама приобщила юного Булгакова к сочинительству и театральному творчеству, привила ему вкус к театру. Варвара Михайловна выступала режиссером домашних детских спектаклей. В двенадцать лет Миша с увлечением играл в любительском спектакле «Царевна Горошина» сразу две роли — атамана разбойников и Лешего.

По вечерам, уложив детей спать, мать играла на рояле Шопена. Отец играл на скрипке. Он неплохо пел, чаще всего «Нелюдимо наше море». И дети, и родители очень любили оперу,

особенно «Фауста». Почти каждую весну в Киев приезжал всеми любимый Федор Шаляпин и обязательно пел в «Фаусте» — для семьи Булгаковых это был праздник. Они все вместе ходили на летние концерты в Купеческом саду над Днепром.

Позже, уже после смерти матери, Михаил Булгаков напишет: «…временами, когда в горьких снах я вижу абажур, клавиши, Фауста и ее… мне хочется сказать — поедемте со мною в Художественный Театр. Покажу Вам пьесу. И это все, что могу предъявить. Мир, мама?» А в конце 1920-х годов он говорил П. С. Попову: «…Образ лампы с абажуром зеленого цвета. Это для меня очень важный образ. Возник он из детских впечатлений — образа моего отца, пишущего за столом».

Афанасий Иванович действительно часто работал до глубокой ночи. Жизнь старшего поколения Булгаковых отнюдь не была сплошным праздником: дети, все почти погодки, подрастали один за другим, жалованье доцента академии было невелико, и Афанасий Иванович параллельно с преподаванием в академии искал дополнительный заработок. Сначала он преподавал историю в институте благородных девиц, потом, с 1893 года и уже до конца дней, служил в киевской цензуре. От других возможностей поддержать бюджет семьи он тоже не отказывался. Но осенью 1906 года Афанасий Иванович смертельно заболел — у него обнаружился нефросклероз, болезнь, которая впоследствии унесет и жизнь его старшего сына.

До этого времени в семье все было хорошо: успешно начатая карьера отца, понимающая мать, хорошие перспективы у детей. А теперь оказалось, что семеро ребят — мальчики и девочки, из которых самый старший, Михаил, пошел лишь в шестой класс, а младшие — Николай, Иван, Леля — еще совсем не учились, оставались с матерью, у которой не было ни имений, ни сбережений, не было даже дома, а только наемная квартира, за которую надо было платить. А у отца не было даже звания ординарного профессора и тридцатилетней выслуги лет, дававших право на достойную пенсию.

Коллеги Афанасия Ивановича способствовали тому, чтобы он был удостоен степени доктора богословия, и одновременно возбудили ходатайство перед Священным синодом о присвоении ему звания ординарного профессора. Оно было удовлетворено 8 февраля 1907 года. Понимая, что скоро умрет, Афанасий Иванович сделал все, чтобы с его уходом из жизни семья была обеспечена средствами к существованию. Он умер 14 марта 1907 года, и его семье была назначена пенсия в 3000 рублей в год, в общем, немалая по тем временам сумма.

После смерти мужа Варвара Михайловна осталась одна с

семью детьми и вечными семейными хлопотами. «Мама, светлая королева», — писал Булгаков. Она уверенно управляла своим маленьким королевством, его материальной базой, его системами жизнеобеспечения, его образованием, культурой, нравственностью… Это была обожаемая и добрая королева, создающая вокруг себя доверительную и теплую атмосферу, надежная в трудные времена перемен. Одному Богу известно, чего это все ей стоило, какие силы были потрачены на то, чтобы королевство выжило, сохранилось, осталось независимым, развивалось дальше! Немногим более пятидесяти лет выделила ей судьба, но Варвара Михайловна успела сделать главное — вырастить детей.

Однако детство — это не только семья, но и гимназия, с новыми друзьями, интересами, успехами и разочарованиями. Юный Булгаков прошел приготовительный класс Киевской Второй гимназии и в августе 1901 года стал учиться в знаменитой Первой мужской Александровской гимназии.

Это была необычная гимназия, она имела особый статус. Император Александр I в свое время даровал ей широкие права, а в 1901 году министр народного просвещения генерал П. С. Ванновский привлек для работы в этой гимназии университетских преподавателей. Основные курсы в ней вели доценты и профессора университета и политехнического института.

Например, спецкурсы по философии, логике и психологии читал известный философ Г. И. Челпанов, учителем латинского языка был чех А. О. Поспишиль, издатель сочинений Платона, русский язык и словесность преподавал крестный отец Михаила Н. И. Петров, потом его сменил доктор Венского университета Ю. А. Яворский, крупный ученый-фольклорист, историю читал М. И. Тростянский, специалист по Гоголю, естествоведение (совершенно новый предмет, ранее никогда не преподававшийся в средней школе) вел профессор Добровлянский, преподававший в политехническом институте.

По уровню преподавания и составу учителей Александровская гимназия не уступала лучшим столичным учебным заведениям. Исследователи творчества Булгакова считают, что эта гимназия сыграла в жизни автора «Мастера и Маргариты» такую же роль, какую Царскосельский лицей — в жизни Пушкина.

Директором Александровской гимназии был Евгений Адрианович Бессмертный — прекрасный педагог, человек, который умел защитить своих учеников в любых сложных жизненных ситуациях (а их было немало, например, в

революционный 1905 год). Константин Паустовский, учившийся вместе с Булгаковым, так описал Бессмертного в своей «Повести о жизни»: «…пожилой красавец с золотой бородкой, в новеньком форменном фраке. Он был мягкий, просвещенный человек, но его почему-то полагалось бояться». Должность, как говорится, обязывала, поэтому и полагалось бояться, однако личность директора раскрывалась перед гимназистами совсем с другой стороны.

Сами же гимназисты были, конечно, очень разными, но их объединяло некое неформальное братство, которое часто объединяет тех, кто вместе учился, открывал для себя мир, впервые познавая его светлые и темные стороны, создавая те дружеские узы, которые остаются на всю жизнь.

В романе «Белая гвардия» Алексей Турбин вдруг вспомнит гимназические годы и перед ним встанет картина из давно прошедшего детства: «…Толпа гимназистов всех возрастов в полном восхищении валила по этому коридору. Коренастый Максим, старший педель, стремительно увлекал две черные фигурки, открывая чудное шествие.

— Пущай, пущай, пущай, пущай, — бормотал он, — пущай, по случаю радостного приезда господина попечителя, господин инспектор полюбуется на господина Турбина с господином Мышлаевским. Это им будет удовольствие. Прямо-таки, замечательное удовольствие!

Надо думать, что последние слова Максима заключали в себе злейшую иронию. Лишь человеку с извращенным вкусом созерцание господ Турбина и Мышлаевского могло доставить удовольствие, да еще в радостный час приезда попечителя. У господина Мышлаевского, ущемленного в левой руке Максима, была наискось рассечена верхняя губа, и левый рукав висел на нитке. На господине Турбине, увлекаемом правою, не было пояса, и все пуговицы отлетели не только на блузе, но даже на разрезе брюк спереди, так что собственное тело и белье господина Турбина безобразнейшим образом было открыто для взоров.

— Пустите нас, миленький Максим, дорогой, — молили Турбин и Мышлаевский, обращая по очереди к Максиму угасающие взоры на окровавленных лицах.

— Ура! Волоки его, Макс Преподобный! — кричали сзади взволнованные гимназисты. — Нет такого закону, чтобы второклассников безнаказанно уродовать!»

Эти воспоминания общие не только для Турбина и Булгакова. Какой мальчишка вырастает без драк, выяснений отношений и доказательств, что он чего-то стоит! Так что можно быть уверенным в том, что Булгаков был непременным участником

мальчишеских потасовок.

Паустовский вспоминает: «Булгаков был переполнен шутками, выдумками, мистификациями. Все это шло свободно, легко, возникало по любому поводу. В этом были удивительная щедрость, сила воображения, талант импровизатора. Существовал мир, и в этом мире существовало как одно из его звеньев — его творческое юношеское воображение».

Этот портрет юного гимназиста согласуется с другим портретом, домашним, который, так сказать, нарисовала сестра Булгакова Надежда. Она отмечала, что Миша был всегда весел, задавал тон шуткам, писал сатирические стихи про маму, братьев и сестер, давал всем стихотворные характеристики, рисовал карикатуры, играл на рояле.

Молодость успевает все: учиться, веселиться, лицедействовать, театрализуя быт, заниматься спортом. Известно, например, что все три брата Булгаковых — Михаил, Николай и Иван — играли в футбол, который медленно, но верно становился популярным среди молодежи того времени.

Об атмосфере своего детства и отрочества Михаил Булгаков так написал в очерке «Киев-город»: «Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах, зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Времена, когда в садах самого прекрасного города нашей родины жило беспечальное юное поколение».

Сегодня мы знаем, какие тяжелые испытания выпали на долю этого «беспечального поколения»: войны, революции, эмиграция, непростые годы становления советской власти, репрессии. Но пока это поколение верит, что все будет хорошо в его судьбе, что мир добр и праздничен, а они сами талантливы и неповторимы, и у них впереди долгая и, конечно, счастливая жизнь!

«О, восемь лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного и отчаянного для мальчишеской души, но сколько было радостного. Но зато и весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, и, главное, вечный маяк впереди — университет, значит, жизнь свободная, — понимаете ли вы, что значит университет? Закаты на Днепре, воля, деньги, слава, слава», — напишет Булгаков в «Белой гвардии».

Как хорошо сказано: «вечный маяк впереди — университет»! Действительно, университет был виден из окон гимназии, но он был и маяком в жизни, которая предполагала дальнейшую учебу, приобретение любимой профессии. Для Булгакова университет —

это путь к самореализации, самоутверждению, путь служения людям. Но пока шла беспокойная гимназическая жизнь.

С 1906 года Булгаковы жили на Андреевском спуске, 13. К семерым детям прибавилась племянница, приехавшая в Киев учиться на Высших женских курсах, и два племянника, гимназисты, отец которых, священник русской миссии в Токио, служил в Японии. Вся эта веселая компания жила дружно, поддерживая друг друга, веря друг в друга, понимая и любя, подчиняясь «королевской» воле Варвары Михайловны Булгаковой.

Дом на Андреевском спуске, где Михаил Булгаков жил по 1919 год и куда «поселил» позже героев своего романа «Белая гвардия», с легкой руки писателя Виктора Некрасова называют «Домом Турбиных». Сегодня в этом доме продолжают свою жизнь одновременно две семьи: семья самого Булгакова и семья его литературных героев — Турбиных. Этот дом — настоящая легенда.

На скамеечке у дома, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди, сидит Михаил Афанасьевич, задумчиво глядя на пришедших к нему гостей. Скульптура работы Николая Рапая была установлена не так давно, в октябре 2007 года, но кажется, что Мастер был здесь всегда.

В дом на Андреевском спуске, 13, можно зайти и, словно в машине времени, перенестись в другие миры. Вашим проводником в этих мирах станет Анатолий Петрович Кончаковский — директор мемориального музея Михаила Булгакова, а вместе с ним другие подвижники и волшебники, силами и талантом которых создавался этот музей.

По большому счету, это не музей — это целый мир. О нем нельзя рассказывать, в него надо просто попасть, побыть в нем, прочувствовать его.

Это дом, в котором дни, как и в мире в целом, летят безумно быстро. И в тоже время можно вернуть каждую ушедшую минуту. Достаточно открыть страницы рукописей, которые, как известно, не горят, и прочитать о том, как «…в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все

выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий. Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, — все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей, молвила: «Дружно… живите.»

Конечно, семья Турбиных из романа «Белая гвардия» и семья Булгаковых — это не идентичные семьи. Но они, конечно, близки и родственны друг другу.

Во времена юности Булгакова в доме собиралась молодежь, отмечали праздники, читали книги, слушали музыку, пели арии из опер, читали стихи. Летом на даче организовывались самодеятельные спектакли. Булгаков брал уроки скрипки и неплохо играл на рояле, большей частью из своих любимых опер — «Фауста», «Аиды», «Травиаты». Михаил также пел, у него был мягкий, красивый баритон. На столе у него стоял портрет Льва Сибирякова — это был очень популярный в те годы бас — с автографом: «Мечты иногда претворяются в действительность». Словом, интересы у молодого Булгакова были весьма разносторонними, как и положено в этом возрасте!

Для молодости характерен неистребимый жизненный оптимизм, ощущение праздничности бытия. Однако это не исключало другой стороны жизни — прозаически-материальной. Семья была большой, пенсии постоянно не хватало, и два раза в год Варвара Михайловна Булгакова обращалась в гимназию с прошением: «Оставшись вдовою с семью малолетними детьми и находясь в тяжелом материальном положении, покорнейше прошу ваше превосходительство освободить от платы за право учения сына моего…». Как уже говорилось, сыновей у нее было трое, а дочерей — четыре.

Обыденного бытия никто не отменял, с ним надо было

считаться. Но молодость берет свое и, невзирая на материальные трудности, рискует, влюбляется, стремится к славе, делает ошибки. Ведь главное в жизни — это все ошибки делать вовремя.

В начале лета 1908 года окончивший предпоследний, седьмой класс гимназии Михаил впервые увидел шестнадцатилетнюю Татьяну Лаппа, дочь управляющего Саратовской казенной палаты Николая Николаевича Лаппа. Она, тоже еще гимназистка, приехала в Киев на каникулы — здесь жили ее бабушка и тетка по отцу, Софья Николаевна, которая дружила с Варварой Михайловной Булгаковой. Именно Софья Николаевна сказала Татьяне: «Я познакомлю тебя с мальчиком. Он покажет Киев».

И Михаил со всей страстью молодости стал показывать девушке свой любимый Город. Вскоре у него был не только любимый Город, но и любимая девушка.

В семье Николая Николаевича и Евгении Викторовны Лаппа, дружной и многодетной, кроме Тани воспитывались еще четыре сына и дочь. Материальное положение семьи было по тем временам прекрасным, поскольку управляющий казенной палатой являлся третьим по значению чиновником в губернской иерархии.

Несколько десятилетий спустя Татьяна Николаевна рассказывала: «Я приходила из гимназии, бросала верхнюю одежду на пол, мать говорила: «Не подбирай — горничная уберет. Неизвестно, как сложится жизнь: пока позволяют обстоятельства — ничего не делай!»»

Судьба недолго позволяла юной Татьяне жить ничего не делая. Как это ни удивительно, но эта хрупкая девушка смогла перенести и тяготы войны, и трудности жизни в глубинке, и голодную жизнь в Москве, и многое другое, о чем в своей безмятежной юности и подумать не могла.

После первой встречи Михаил и Тася (так он ее называл) расстались на два с половиной года. Но чувства их не угасли. Приятель Булгакова, Саша Гдешинский, когда Таню не отпустили на праздники в Киев, отправил ей телеграмму: «Телеграфируйте обманом приезд. Миша стреляется». Конечно, это была шутка, но на отца Тани Николая Николаевича она произвела самое неприятное впечатление. Тем не менее, летом 1911 года Таню все-таки отпустили погостить у Булгаковых на даче под Киевом. А на Рождество Михаил впервые поехал в Саратов — познакомиться с будущими тестем и тещей. Жили Лаппа в Саратове в здании казенной палаты, в большой квартире с отдельным парадным входом. В доме Николая Николаевича давались обеды. Позже Татьяна Николаевна вспоминала: «Стол накрывали на 100

человек — нам, детям, было раздолье! Когда мы познакомились с Михаилом, отец дослужился уже до действительного статского советника. У отца был курьер; в доме были горничная, кухарка, бонна. Семья была тоже большая — шесть детей, я старшая. Лакея не было: на стол подавала горничная. Закусок к столу не подавали — у отца были больные почки, так что в гостях мы любили консервы. Михаилу наш стол нравился».

Летом 1912 года сестра Булгакова Надежда записала в своем дневнике: «Мишино увлечение Тасей и его решение жениться на ней. Он все время стремится в Саратов, забросил занятия в университете, не перешел на 3-й курс».

Что ж, учеба могла подождать. Любовь была важнее!

Михаил Булгаков поступил на медицинский факультет университета в 1909 году. Впоследствии он говорил, что работа врача казалась ему «блестящей». Он представлял свою будущую профессию в ореоле таинственности и притягательности. Но следует заметить, что его привлекали и другие творческие планы. Так, в 1912 году Булгаков, показывая сестре Надежде свои рассказы, сказал: «Вот увидишь, я буду писателем». Однако пока он все забросил, подхваченный светлой волной первой любви.

Возникшее между Михаилом и Тасей чувство прошло испытание временем, и 26 апреля 1913 года они обвенчались в Киево-Подольской Добро-Николаевской церкви.

Беззаботные и веселые Михаил и Тася стояли у аналоя. У невесты не было ни фаты, ни подвенечного платья. Зато были заказаны особые плоские кольца с именами, выгравированными внутри, — «Михаил Булгаков» у нее и «Татьяна Булгакова» у него.

«Помню, под венцом почему-то хохотали ужасно. Домой ехали в карете», — вспоминала Татьяна Николаевна. «Как они подходят друг другу по безалаберности натур!» — сокрушалась сестра Булгакова Надежда.

Первые годы семейная жизнь была счастливой, такой, как и мечталось. К занятиям в университете Булгаков после свадьбы относился со всей серьезностью. Татьяна Николаевна рассказывала, что он ходил на все лекции, не пропускал занятий, посещал общественную библиотеку, которая открылась в конце Крещатика у Купеческого сада. Булгаков очень любил эту библиотеку и даже брал с собой жену. Пока он занимался, она читала какую-нибудь книжку. Влюбленным не хотелось расставаться даже на час. Они ходили в оперу, слушали «Кармен», «Гугенотов», «Севильского цирюльника» с итальянцами. Михаил очень любил увертюру к «Руслану и Людмиле» и «Аиду», порою напевал: «Милая Аида. Рая созданье». Больше же всего он любил «Фауста» и чаще всего пел «На земле весь род людской.» и ариозо

Валентина — «Я за сестру тебя молю.».

Татьяна Николаевна вспоминала, что они ходили в кафе на углу Фундуклеевской улицы, в ресторан «Ротце», много гуляли и деньги тратили весело. Булгаков вообще считал, что если есть деньги — их надо сразу использовать. Если есть последний рубль и стоит рядом лихач — молодые садились и ехали! Или когда один говорил: «Так хочется прокатиться на авто!» — другой тут же отвечал: «Так в чем дело — давай поедем!»

Мать, Варвара Михайловна, ругала молодых за легкомыслие. Придут Миша с Тасей к ней обедать, она видит — ни колец, ни Тасиной цепи — значит, все в ломбарде!

На что они жили? Михаил давал уроки. А Тасе отец присылал 50 рублей в месяц. 10–15 рублей они платили за квартиру, а остальное все сразу тратили.

Молодые супруги часто бывали в Саратове, а летом жили за городом, где на одной из соседних дач устраивались любительские спектакли, в которых, по всей видимости, участвовал и Булгаков.

Но это золотое, беспечальное время было уже на исходе.

Начало Первой мировой войны застало молодую семью в Саратове. В газете «Саратовский листок» от 16 сентября 1914 года появилось сообщение об открытии в казенной палате лазарета для раненых: «Лазарет, открытый на средства чинов палаты, оборудован на 20 кроватей. Уходом за ранеными по очереди заняты жены и дочери чиновников во главе с супругой управляющего Евгенией Викторовной Лаппа».

Именно в этом лазарете студент-медик Булгаков прошел свою первую врачебную практику. Он был студентом четвертого курса и уже мог работать врачом-санитаром. Тася старалась не отставать от него и тоже устроилась в госпиталь, сначала санитаркой, а потом сестрой милосердия. На протяжении многих лет она всегда была рядом с мужем, разделяя с ним его жизнь, его работу, его проблемы.

В мае 1915 года Булгаков поступает на службу в Киевский военный госпиталь Красного Креста на Печерске, а потом становится врачом-хирургом в прифронтовых госпиталях. Он сразу же оказывается в гуще военных событий, в районе Брусиловского прорыва. Сначала Михаил работает в госпитале в Каменце-Подольском, а позже в освобожденных в июне 1916 года Черновцах. Здесь он делает свои первые хирургические операции, набирает бесценный медицинский опыт. Рядом с ним находится его верная жена Тася. Позже она вспоминала: «В Черновицах в госпитале я работала сестрой, держала ноги, которые он ампутировал. Там очень много гангренозных больных было, и он

все время ноги пилил.

Ампутировал. А я эти ноги держала. Так дурно становилось, думала, сейчас упаду. Потом отойду в сторонку, нашатырного спирта понюхаю и опять. Потом привыкла. Очень много работы было. С утра, потом маленький перерыв и до вечера. Он так эти ноги резать научился, что я не успевала».

В общем, Булгакову досталась поистине героическая жена, готовая идти за ним в огонь, воду, фронтовые госпитали — куда угодно, лишь бы быть с ним рядом.

В сентябре Михаил был отозван с фронта и направлен в сельскую больницу. В это время сельские больницы, оголенные военным призывом, остались совсем без врачей, поэтому на их место срочно направлялись выпускники медицинских факультетов. В сентябре 1916 года Булгаков получил диплом об окончании Киевского университета, а вместе с ним — направление в один из самых глухих уголков Смоленской губернии — в село Никольское Сычевского уезда.

О своей работе земским лекарем Булгаков расскажет позже в автобиографическом цикле рассказов «Записки юного врача».

Вот как он описывает состояние своего героя в рассказе «Полотенце с петухом»: «Каждому приходилось представляться: — Доктор такой-то. — И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал: — Неужели? А я-то думал, что вы еще студент. — Нет, я кончил, — хмуро отвечал я и думал: «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить не к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение, повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдержать, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо».

Хорошо получалось другое — не бояться рисковать ради спасения чужой жизни. И когда встает вопрос: оперировать ли уже фактически умирающую девушку с раздробленной ногой, булгаковский герой вдруг сурово говорит, не узнавая своего голоса: «Камфары. Готовьте ампутацию». И он провел ее, эту свою первую ампутацию, и спас девушке жизнь, и получил от нее в подарок снежно-белое полотенце с красным вышитым петухом. Таким был герой булгаковских рассказов: решительный, быстро набирающий практический опыт, преданный своей профессии, которая, несмотря на всю кровь, страх и боль, овеяна для него неистребимой романтикой самоотверженного труда.

А каким был первый день работы в Никольском у сельского доктора Булгакова?

Вот как рассказывала об этом жена Булгакова Татьяна Николаевна: «В Никольское приехали поздно, никто, конечно, не встречал. Там был двухэтажный дом врачей. Дом этот был закрыт; фельдшер пришел, принес ключи, показывает — «вот ваш дом».» Дом состоял из двух половин с отдельными входами: рассчитан он был на двух врачей, необходимых больнице. Но второго врача не было… Наверху была спальня, кабинет, внизу столовая и кухня. Мы заняли две комнаты, стали устраиваться. И в первую же ночь привезли роженицу! Я пошла в больницу вместе с Михаилом. Роженица была в операционной; конечно, страшные боли; ребенок шел неправильно. Я видела роженицу, она теряла сознание. Я сидела в отдалении, искала в учебнике медицинском нужные места, а Михаил отходил от нее, смотрел, говорил мне: «Открой такую-то страницу!» А муж ее сказал, когда привез: «Если умрет, и тебе не жить — убью». И все время потом ему там грозили. В следующие дни сразу стали приезжать больные, сначала немного, потом до ста человек в день.»

А вот этот же первый день, описанный уже Булгаковым в «Записках юного врача»: «…Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. — Гм, — очень многозначительно промычал я, — однако у вас инструментарий прелестный. Гм. — Как же-с, — сладко заметил Демьян Лукич, — это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.

Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики». Внизу, в аптеке, «не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего».

Булгаков быстро осваивал профессию врача. Он производил ампутации и прививки, вскрывал нарывы, принимал роды, словом, делал все, что делает сельский врач в больнице. В удостоверении, которое Михаил получил от земской управы через год, было написано, что он «зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником на земском поприще». И там же отмечалось, что он принял за год более пятнадцати с половиной тысяч больных!

Булгаков провел сотни хирургических и акушерских операций. Завершая учебу в университете, он специализировался на детских болезнях, но в сложившихся обстоятельствах обратил

внимание на венерологию. Михаил Афанасьевич хлопотал об открытии венерологических пунктов в уезде, настаивал на принятии профилактических мер.

Вероятно, он был хорошим врачом, вернее он становился хорошим врачом, но судьба уготовила ему другую стезю, которая, как дорога к его сельской больнице, пока была занесена снегом.

«Порою нас заносило вовсе снегом, выла несусветная метель, мы по два дня сидели в Мурьевской больнице, не посылали даже в Вознесенск за девять верст за газетами, и долгими вечерами я мерил и мерил свой кабинет и жадно хотел газет, так жадно, как в детстве жаждал куперовского «Следопыта».» — пишет Булгаков в «Записках юного врача».

Врачебная карьера Михаила продолжалась. Осенью его перевели в Вязьму на должность заведующего инфекционным и венерологическим отделением городской земской больницы. Он был невероятно рад переезду, новому городу, новой работе: «Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество! И вот я увидел их вновь наконец, обольстительные электрические лампочки!.. На перекрестке стоял живой милиционер, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия, невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект.

О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице был старший врач, три ординатора (кроме меня), фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только!.. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность…»

Кто знает, может быть, Булгаков занялся бы наукой, стал известным, уважаемым врачом, писал бы научные статьи и совсем иные книги — монографии и учебники по медицине. Но события октября 1917 года изменили его жизнь так же, как и жизни миллионов его соотечественников. Пришло грозное время непредсказуемых перемен.

В конце 1917 года Булгаков пишет сестре Надежде: «Недавно в поездке в Москву и Саратов мне пришлось видеть воочию то, что больше я не хотел бы видеть. Я видел, как толпы бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве. Видел голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров.»

Время было грозным, время было жестоким, оно требовало, чтобы все мужчины надели шинели, взяли в руки оружие. В семье Булгаковых, такой далекой от армии и военных традиций, вдруг появились военные. Сестра Варя вышла замуж за кадрового военного, сестра Надежда была замужем за Андреем Земским, филологом, который стал прапорщиком-артиллеристом (его дивизион стоял в Царском Селе), брат Николай поступил в военное училище. Гражданская война уже стояла на пороге.

1917 год был для Булгакова годом тяжелых испытаний. Летом он проводил трахеотомию у больного ребенка и, опасаясь заражения, вынужден был сделать себе прививку от дифтерита. После этого у него начались боли, которые он стал снимать с помощью морфия, и в результате употребление наркотика вошло в привычку. Неизлечимый по тем временам морфинизм повредил земской врачебной карьере Булгакова: он был освобожден от службы по болезни. Вылечился он только через год в Киеве благодаря усилиям жены и отчима — врача И. П. Воскресенского.

Поправившись, Булгаков открыл частную практику как венеролог.

«Михаил решил заняться частной практикой, — рассказывала Татьяна Николаевна. — Когда мы весной 17-го года уезжали из Саратова, отец дал мне с собой ящик столового серебра — мое приданое. Теперь я решила его продать. Как раз в это время я узнала о смерти отца — спустя шесть месяцев после того, как он умер — в начале 1918 г. — в Москве, в тот самый день, когда к нему приехала мама. Когда я узнала, я тут же послала ей через Красный Крест 400 рублей, но они, к сожалению, не дошли. На остальное мы купили все необходимое для приема больных. Я 5 тысяч получила за серебро, но быстро их все потратили.

Кабинет Михаила был устроен очень удобно — больные в приемной сидели за ширмой и не видели тех, кто выходил от врача; для больных венерическими болезнями это имело значение.

Смена властей очень действовала на прием: в начале каждой новой власти всегда было мало народу — боялись, наверно, а под конец — много. Конечно, больше ходили солдаты и всякая голытьба — богатые люди редко болели этими болезнями. Так что заработок был небольшой. Я помогала Михаилу во время приема — держала руку больного, когда он впрыскивал ему неосальварсан. Кипятила воду. Все самовары эти чертовы распаивала! Заговорюсь — а кран уже отваливается.»

Работать было очень трудно. Частный прием врача — это двери дома, открытые настежь. Татьяна Николаевна вспоминала, как раздавался стук или звонок, и она шла открывать.

«К врачу», — говорил незнакомый человек, его впускали. Приходили проститутки. Кто только ни приходил. Приходили, вероятно, и посетители, описанные позже Булгаковым в «Белой гвардии»: «В первом человеке все было волчье, так почему-то показалось Василисе. Лицо его узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие, кожа серенькая, усы торчали клочьями, и небритые щеки запали сухими бороздами, он как-то странно косил, смотрел исподлобья и тут, даже в узком пространстве, успел показать, что идет нечеловеческой, ныряющей походкой привычного к снегу и траве существа. На голове у волка была папаха, и синий лоскут, обшитый сусальным позументом, свисал набок. Второй — гигант, занял почти до потолка переднюю Василисы. Третий был с провалившимся носом, изъеденным сбоку гноеточащей коростой, и сшитой и изуродованной шрамом губой. На голове у него старая офицерская фуражка с красным околышем и следом от кокарды, на теле двубортный солдатский старинный мундир с медными, позеленевшими пуговицами.» Приходили вооруженные люди. Их надо было лечить.

Власть в городе постоянно менялась — красные, белые, петлюровцы. Киев переживал все ужасы и страдания гражданской войны. Булгаков пережил, как он вспоминал, «десять переворотов лично».

Последней для него киевской властью в 1919 году была власть деникинской Добровольческой белой армии. Он был признан военнообязанным и мобилизован полковым врачом в части на Северном Кавказе.

Татьяна Николаевна Лаппа вспоминала об этом времени так: «Он получил мобилизационный листок, кажется, обмундирование — френч, шинель. Его направили во Владикавказ, в военный госпиталь. Назначение было именно во Владикавказ, и не санитарным поездом. Почему я так думаю — потому что в Ростове он сделал остановку. Пошел играть в бильярд — то есть был сам себе господин. Там он сильно проигрался… и даже заложил мою золотую браслетку. В Киеве я жила без него, меньше месяца… получила телеграмму из Владикавказа, и сразу вслед за телеграммой письмо. Поехала. Предупредили: если в Екатеринославе махновцы — поезд разгромят. Боялась, конечно.»

Тасе повезло, она благополучно доехала до Владикавказа, муж встретил ее на вокзале. Это было почти чудо.

Булгаков получил назначение «начальником санитарного околодка 3-го Терского казачьего полка», ездил в Грозный и другие города Северного Кавказа, участвовал в походах на Чечен-аул и Шали-аул против восставших чеченцев. Но на рубеже 1919–1920 годов он оставляет службу и занятия медициной и

становится журналистом местных газет. К официальным врачебным занятиям и медицинской практике Булгаков уже не вернется.

Сохранились три его публикации того времени: памфлет «Грядущие перспективы» (газета «Грозный», 26 ноября), очерк «В кафэ» и рассказ с подзаголовком «Дань восхищения».

В «Грядущих перспективах» Булгаков пишет: «Теперь, когда наша несчастная родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала «великая социальная революция», у многих из нас все чаще и чаще начинает являться одна и та же мысль. Эта мысль настойчивая. Она — темная, мрачная, встает в сознании и властно требует ответа. Она проста: а что же будет с нами дальше?»

Ответ Булгакова на этот вопрос оказывается неожиданным. Он смотрит на события не изнутри страны, а с позиции мира в целом: «И вот пока там, на Западе, будут стучать машины созидания, у нас от края и до края страны будут стучать пулеметы. Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь, и нам нет остановки, нет передышки. Мы начали пить чашу наказания и выпьем ее до конца. Там, на Западе, будут сверкать бесчисленные электрические огни, летчики будут сверлить покоренный воздух, там будут строить, исследовать, печатать, учиться. А мы. Мы будем драться. Ибо нет никакой силы, которая могла бы изменить это. Мы будем завоевывать собственные столицы. И мы завоюем их».

«…И война кончится. Тогда страна окровавленная, разрушенная начнет вставать. Медленно, тяжело вставать. Те, кто жалуется на «усталость», увы, разочаруются. Ибо им придется «устать» еще больше. Нужно будет платить за прошлое неимоверным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном, и в буквальном смысле слова. Платить за безумство мартовских дней, за безумство дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станком для печатания денег… за все! И мы выплатим. И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кой-что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас впустили опять в версальские залы».

Булгаков постепенно осознает, что его предназначение — писать. Не случайно свою автобиографию он фактически начинает именно с того периода, когда был написан первый рассказ, все предыдущее — пунктиром: «Родился в г. Киеве в 1891 году. Учился в Киеве и в 1916 году окончил университет по медицинскому факультету, получив звание лекаря с отличием. Судьба сложилась так, что ни званием, ни отличием не пришлось

пользоваться долго. Как-то ночью в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов. В начале 20-го года я бросил звание с отличием и писал. Жил в далекой провинции и поставил на местной сцене три пьесы».

Начало литературной жизни совпало с тяжелым испытанием, которое едва не стоило Булгакову жизни — он заболел возвратным тифом. Позже в «Записках на манжетах» Михаил Афанасьевич даст потрясающее описание тифозного бреда: «Боже мой, боже мой, бо-о-же мой! Тридцать восемь и девять… да уж не тиф ли, чего доброго? Да нет. Не может быть! Откуда?! А если тиф?! Какой угодно, но только не сейчас! Это было бы ужасно. Пустяки. Мнительность. Простудился, больше ничего. Инфлюэнца. Вот на ночь приму аспирин и завтра встану, как ни в чем не бывало!

Тридцать девять и пять! Пышет жаром утес, и море, и тахта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего… и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! И в случае чего — еду! Еду! Не надо распускаться! Пустячная инфлюэнца. Хорошо болеть. Чтобы был жар. Чтобы все забылось. Полежать, отдохнуть, но только, храни Бог, не сейчас!.. В этой дьявольской суматохе некогда почитать. А сейчас так хочется. Что бы такое? Да. Леса и горы. Но не эти проклятые, кавказские. А наши, далекие. Мельников-Печерский. Скит занесен снегом. Огонек мерцает, и баня топится. Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полок. Вмиг полегчало бы. А потом — голым кинуться в сугроб. Леса! Сосновые, дремучие. Корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже. Какое хорошее, солидное, государственное слово — по-не-же! Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит. И хор монашек поет нежно и складно: «Взбранной воеводе победительная!..» Туман. Жаркий, красноватый туман. Леса, леса… и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная хрустальная струя. Только нужно доползти. А там напьешься — и снимет, как рукой! Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючая. Глаза открыть — вовсе не хвоя, а простыня. «Гос-по-ди! Что это за простыня. Песком, что ли, вы ее посыпали?.. Пи-ить! Доктор! Я требую. Немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России. Если не отправите, извольте дать мне мой бра… браунинг!»

Его выходила и вылечила верная жена Тася.

Пока Булгаков болел, белые войска ушли, и во Владикавказе установилась советская власть. Но и при советской власти Михаил Афанасьевич определился на литературную работу. К его служебным обязанностям относилась организация литературных вечеров, концертов, спектаклей, диспутов, где он выступал со вступительным словом перед началом представления. О том, как это происходило, можно себе представить по небольшому отрывку из «Записок на манжетах»: «Я читал вступительную статью «О чеховском юморе». Но оттого ли, что я не обедаю вот уже третий день, или еще почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно. В театре — яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил: это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи заработал, пусть теперь отдуваются другие. Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал: «Чтоб их разорвало с их юмором! На Кавказ заехали, и тут голову морочат!..» Он совершенно прав, этот тульский воин. Я забился в свой любимый угол, темный угол за реквизиторской. И слышал, как из зала понесся гул. Ура! Смеются. Молодцы актеры. «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник. Удача! Успех!»

Со временем Татьяна Николаевна устроилась статисткой во владикавказском театре, а Булгаков приступил к написанию пьес для драматической труппы этого театра. Среди них одноактная юмореска «Самооборона», четырехактная драма «Братья Турбины (Пробил час)», комедия-буфф «Глиняные женихи (Вероломный папаша)», «Парижские коммунары», «Сыновья муллы».

Обо всех этих пьесах Булгаков напишет позднее: «Впоследствии в Москве в 1923 году, перечитав их, торопливо уничтожил. Надеюсь, что нигде ни одного экземпляра их не осталось». Он называл это «хламом», рукописи распорядился уничтожить, и поэтому уцелел лишь суфлерский экземпляр пьесы «Сыновья муллы», да и то случайно. Кстати, именно это пьеса, удачно поставленная и прошедшая с большим успехом у местной публики, позволила Булгакову уехать из Владикавказа, потому что за нее заплатили приличные деньги. Об этом идет речь в «Записках на манжетах»: «В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ее немедленно купили за 200 тысяч. И через две недели она шла. В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, — после того, как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников, — кричали: «Ва! Подлец! Так ему и надо!». И вслед

за подотдельскими барышнями вызывали: «автора!». За кулисами пожимали руки: «Пирикрасная пыеса!». И приглашали в аул.

Бежать! Бежать! На 100 тысяч можно выехать отсюда. Вперед. К морю. Через море и море, и Францию — сушу — в Париж!.. Косой дождь сек лицо, и, ежась в шинелишке, я бежал переулками в последний раз — домой.

…Вы, беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже! Будьте вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я! В коллективном творчестве. Писали же втроем: я, помощник поверенного и голодуха. В 21-м году, в его начале.»

В письме к сестре Вере от 26 апреля 1921 года Булгаков пишет: «Не могу выразить, как иногда мучительно мне приходится. Думаю, что это вы поймете сами. Я жалею, что не могу послать вам мои пьесы. Во-первых, громоздко, во-вторых, они не напечатаны, а идут в машинных списках, а в-третьих, они чушь. Дело в том, что творчество мое разделяется резко на две части: подлинное и вымученное».

Единственное, что он хотел бы написать, так это — роман. И он его напишет. Во что бы то ни стало.

Супруги Булгаковы уехали в конце мая 1921 года через Тифлис в Батум. Отправив жену через Одессу и Киев в Москву, Булгаков попытался отплыть в Константинополь и оттуда во Францию. Но ему не суждено было стать эмигрантом. Он отправился в Москву вслед за Татьяной Николаевной.

У Булгакова началась московская жизнь.

Это время Татьяна Лаппа вспоминала, как самое тяжелое: «Хуже, чем где бы то ни было, было в первый год в Москве. Бывало, что по три дня ничего не ели, совсем ничего. Не было ни хлеба, ни картошки. И продавать мне уже было нечего. Я лежала и все. У меня было острое малокровие.»

В Москве 1921 года у Булгаковых были два самых страшных врага: голод и холод. «Был совершенно невероятный, какого никогда даже не бывает, мороз», — так описывает Булгаков свою первую московскую зиму в очерке «Москва 20-х годов». «Игривый тон моего письма объясняется желанием заглушить тот ужас, который я испытываю при мысли о наступающей зиме, — писал он сестре. — Человек плохо одетый — пропал». О том же строки из письма Михаила к матери: «Оба мы носимся в пальтишках. Я поэтому хожу как-то одним боком вперед (продувает почему-то левую сторону). Мечтаю добыть теплую обувь».

Детали, которые описываются в письмах Булгакова к родным, весьма показательны и говорят и о страшной нищете, и о желании

как можно быстрее из нее выбраться, и о невероятных усилиях, направленных на то, чтобы выжить: «Очень жалею, что в маленьком письме не могу Вам передать подробно, что из себя представляет сейчас Москва. Коротко могу сказать, что идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни. Выехав полтора месяца тому назад в Москву в чем был, я, как мне кажется, добился maximum'а того, что можно добиться за такой срок. Место я имею. Правда, это далеко не самое главное. Нужно уметь получать и деньги. И второго я, представьте, добился. Правда, пока еще в ничтожном масштабе. Но все же в этом месяце мы с Таськой уже кой-как едим, запаслись картошкой, она починила туфли, начинаем покупать дрова и т. д. Работать приходится не просто, а с остервенением. С утра до вечера, и так каждый день без перерыва».

В «Автобиографии» Булгаков написал об этом времени очень кратко: «В конце 1921 года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. В Москве долго мучился; чтобы поддержать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах.»

Поначалу Михаил Афанасьевич работал секретарем Литературного отдела (Лито) Главполитпросвета. Позже в «Записках на манжетах» он так описал свой первый приход в Лито: «Из-за двери слышались голоса: ду-ду-ду. Закрыл глаза на секунду и мысленно представил себе. Там. Там вот что: в первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь, вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет заведующего. Еще большая глубокая тишина. Шкафы. В кресле, конечно, кто? Лито? В Москве? Да, Горький Максим. На дне. Мать. Больше кому же? Ду-ду-ду. Разговаривают. А вдруг это Брюсов с Белым?.. И я легонько стукнул в дверь. Ду-ду-ду прекратилось, и глухо: Да! Потом опять Ду-Ду-Ду! Я дернул за ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер: хорошенькое начало карьеры — сломал! Опять постучал. Да! Да!

— Не могу войти! — крикнул я.

В замочной скважине прозвучал голос:

— Вверните ручку вправо, потом влево, вы нас заперли. Вправо, влево, дверь мягко подалась и.

Да я не туда попал! Лито? Плетеный дачный стул. Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький столик кверху ножками в углу. И два человека. Один высокий, очень молодой, в пенсне. Бросились в глаза его обмотки. Они были белые. В руках он держал потрескавшийся портфель и мешок. Другой, седоватый старик с живыми, чуть смеющимися глазами, был в папахе,

солдатской шинели. На ней не было места без дыры, и карманы висели клочьями. Обмотки серые, и лакированные бальные туфли с бантами. Потухшим взором я обвел лица, затем стены, ища двери дальше. Но двери не было. Комната с оборванными проводами была глуха.»

Блестящего начала литературной жизни явно не получалось, все давалось с громадным трудом. Булгаков жаловался сестре в одном из писем: «…буквально до смерти устаю. Ни о каком писании не думаю. Счастлив только тогда, когда Таська поит меня горячим чаем».

Но, тем не менее, он писал, задумал историческую драму о Николае и Распутине — о событиях 1916–1917 годов. В письме к матери признавался: «Лелею мысль создать грандиозную драму в пяти актах к концу 22-го года. Уже готовы некоторые наброски и планы. Мысль меня увлекает безумно». Булгаков возобновил работу над «Записками земского врача», написал «Необыкновенные приключения доктора», первую часть «Записок на манжетах» и роман «Недуг», который только частично сохранился в виде повести «Морфий», которая рассказывает о судьбе сельского врача Сергея Полякова, попробовавшего наркотик и не нашедшего в себе сил противостоять ему.

Но заботы о хлебе насущном съедали почти все время, и на творчество оставалось все меньше и меньше сил. Ко всем трудностям и бедам, преследовавшим семью Булгакова, добавилось большое горе — 1 февраля 1922 года в Киеве умерла мать Булгакова, Варвара Михайловна.

Михаил и Тася не смогли даже приехать на похороны. Жена Булгакова так вспоминала об этом периоде их жизни: «У нас ни копейки не было… даже разговора не было об этом. Я немножко удивилась, но он как раз в этот день должен был идти куда-то играть. Он устроился… какая-то бродячая труппа (актеров) была, и мы получили телеграмму. Как раз это вечером было. Откуда мы могли взять деньги?..

Очень трудно было доставать билеты. Он нигде не работал, я нигде не работала, одними вещами жили, и те уж на исходе были. Бывало так, что у нас ничего не было — ни картошки, ни хлеба, ничего. Михаил бегал голодный».

В дневниковых записях Булгакова есть строки, относящиеся к концу января 1922 года: «Вошел в бродячий коллектив актеров; буду играть на окраинах. Плата 125 за спектакль.

Убийственно мало. Конечно, из-за этих спектаклей писать будет некогда. Замкнутый круг».

После многих лет Первой мировой войны, гражданской войны и разрухи Москва, как и вся страна, голодала. В «Записках

на манжетах» у Булгакова есть показательная в этом смысле глава «О том, как нужно есть»: «В понедельник я ел картошку с постным маслом и четверть фунта хлеба. Выпил два стакана чая с сахарином. Во вторник ничего не ел, выпил пять стаканов чая. В среду достал два фунта хлеба взаймы у слесаря. Чай пил, но сахарин кончился. В четверг я великолепно обедал. В два часа пошел к своим знакомым. Горничная в белом фартуке открыла дверь. Странное ощущение. Как будто бы десять лет назад. В три часа слышу, горничная начинает накрывать в столовой. Сидим, разговариваем (я побрился утром). Ругают большевиков и рассказывают, как они измучились. Я вижу, что они ждут, чтобы я ушел. Я же не ухожу. Наконец, хозяйка говорит: «А может быть, вы пообедаете с нами? Или нет?». «Благодарю вас. С удовольствием». Ели: суп с макаронами и с белым хлебом, на второе котлеты с огурцами, потом рисовую кашу с вареньем и чай с вареньем. Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представилась картина обыска у них. Приходят. Все роют. Находят золотые монеты в кальсонах в комоде. В кладовке мука и ветчина. Забирают хозяина. Гадость так думать, а я думал».

В фельетоне-очерке «Трактат о жилище» Булгаков так описывает свои первые годы жизни в Москве: «Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание. И я его находил, правда, скудное, неверное, зыбкое. Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне самому казались не смешнее зубной боли, подавал прошение в Льнотрест, а однажды, ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дырявых ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. Что проект этот был хороший, показывает уже то, что когда я привез его на просмотр моему приятелю инженеру, тот обнял меня, поцеловал и сказал, что я напрасно не пошел по инженерной части: оказывается, своим умом я дошел как раз до той самой конструкции, которая уже светится на Театральной площади».

В это время Булгакову всего тридцать лет, он молод, активен, мечтает «восстановить норму — квартиру, одежду и книги» и все для этого делает.

Постепенно жизнь меняется к лучшему. Изменения в жизни Булгакова совпадали с изменениями жизни города, который тоже стремился «восстановить норму». Нэп нес с собой значительные перемены для столицы.

Булгаков так писал в фельетоне «Торговый ренессанс»: «Для того, кто видел Москву всего каких-нибудь полгода назад, теперь она неузнаваема, настолько резко успела изменить ее новая

экономическая политика. Трудно понять, из каких таинственных недр обнищавшая Москва ухитрилась извлечь товар, но она достала его и щедрой рукой вытряхнула за зеркальные витрины и разложила на полках. Зашевелились Кузнецкий, Петровка, Неглинный, Лубянка, Мясницкая, Тверская, Арбат. Магазины стали расти как грибы, окропленные живым дождем нэпа. Государственные, кооперативные, артельные, частные. До поздней ночи шевелится, покупает и продает, ест и пьет за столиками народ, живущий в невиданном еще никогда торгово-красном Китай-городе».

Булгаков радуется каждой пусть маленькой, но победе над голодом и нищетой и в столице, и в своей собственной семье: «Таська ищет место продавщицы, что очень трудно, п.ч. вся Москва еще голая, разутая и торгует эфемерно, большей частью своими силами и средствами, своими немногими людьми. Бедной Таське приходится изощряться изо всех сил, чтоб молотить рожь на обухе и готовить из всякой ерунды обеды. Но она молодец!.. Таськина помощь для меня не поддается учету: при огромных расстояниях, которые мне приходится ежедневно пробегать (буквально) по Москве, она спасает мне массу энергии и сил, кормя меня и оставляя мне лишь то, что уж сама не может сделать: колку дров по вечерам и таскание картошки по утрам. Вы не поверите, насколько мы с Таськой стали хозяйственны. Бережем каждое полено дров. Такова школа жизни».

Так плыл по столичной жизни маленький флот из двух кораблей — семья Булгаковых, — поддерживая и спасая друг друга.

Булгаков выжил, возможно, потому, что понимал всю трагичность своего положения. Позже в фельетоне «Сорок сороков» он напишет об этом так: «…совершенно ясно и просто предо мною лег лотерейный билет с надписью — смерть. Увидав его, я словно проснулся. Я развил энергию неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то, что удары сыпались на меня градом и при этом с двух сторон. Буржуи гнали меня при первом же взгляде на мой костюм в стан пролетариев. Пролетарии выселяли меня с квартиры на том основании, что если я и не чистой воды буржуй, то во всяком случае его суррогат. И не выселили. И не выселят. Смею вас заверить».

Эта жизнестойкость, умение работать без отдыха, уверенность в том, что сломить его не так-то просто, еще не раз спасали Булгакова в его непростой жизни. Он не погиб физически, он состоялся как Мастер, и это не результат везения, а результат титанического труда, веры в свое предназначение.

Весна 1922 года оказалась для Булгакова переломной в его

литературной карьере. С марта этого года он уже работает в «Рабочей газете» и публикует в ней, а также в журнале «Рупор» около 30 репортажей и очерков. А в апреле он поступает литературным обработчиком в газету железнодорожников «Гудок».

На это место Булгаков попал благодаря случайной встрече со своим другом Ароном Эр лихом: «Он шел мне навстречу в длинной, на доху похожей, мехом наружу шубе, в глубоко надвинутой на лоб шапке. Слишком ли мохнатое, невиданно длинношерстное облачение его или безучастное, какое-то отрешенное выражение лица было тому причиной, но только многие прохожие останавливались и с любопытством смотрели ему вслед. Я окликнул его. Мы не виделись два месяца. «Михаил Афанасьевич, а вам никогда не случалось работать в газете?.. Хотите у нас работать?.. Я постараюсь устроить».

Продолжение этой беседы описано на страницах повести Булгакова «Тайному другу»: «Абрам меня взял за рукав на улице и привел в редакцию одной большой газеты, в которой он работал. Я предложил по его наущению себя в качестве обработчика. Так назывались в этой редакции люди, которые малограмотный материал превращали в грамотный и годный к печатанию. Мне дали какую-то корреспонденцию из провинции, я ее переработал, ее куда-то унесли, и вышел Абрам с печальными глазами и, не зная, куда девать их, сообщил, что я найден негодным. Из памяти у меня вывалилось совершенно, почему через несколько дней я подвергся вторичному испытанию. Хоть убейте, не помню. Но помню, что уже через неделю приблизительно я сидел за измызганным колченогим столом в редакции и писал, мысленно славословя Абрама».

Булгаков курирует корреспонденцию из провинции, пишет для «Гудка» репортажи, рассказы и фельетоны, работает в составе «Четвертой полосы» в бригаде журналистов, среди которых Валентин Катаев, Юрий Олеша, Илья Ильф, Евгений Петров.

Предоставим слово Валентину Катаеву, который вспоминает об этом невероятном времени в повести «Алмазный мой венец».

«Что касается дома «Эльпит-рабкоммуна», то о нем был напечатан в газете «Накануне» весьма острый, ядовитый очерк, написанный неким писателем, которого я впредь буду называть синеглазым — тоже с маленькой буквы, как простое прилагательное. Впоследствии романы и пьесы синеглазого прославились на весь мир, он стал общепризнанным гением, сатириком, фантастом, а тогда он был рядовым газетным фельетонистом, работал в железнодорожной газете «Гудок», писал под разными забавными псевдонимами вроде Крахмальная

Манишка. Он проживал в доме «Эльпит-рабкоммуна» вместе с женой, занимая одну комнату в коммунальной квартире.

Он… выгодно отличался от нас тем, что был человеком положительным, семейным, с принципами, в то время как мы были самой отчаянной богемой.

Впоследствии один из биографов синеглазого написал следующее: «Он поверил в себя как в писателя поздно — ему было около тридцати, когда появились первые его рассказы». Думаю, он поверил в себя как в писателя еще на школьной скамье, не написавши еще ни одного рассказа. Хотя синеглазый был по образованию медик, но однажды он признался мне, что всегда мыслил себя писателем вроде Гоголя.

Жена синеглазого Татьяна Николаевна была добрая женщина и нами воспринималась если не как мама, то, во всяком случае, как тетя. Она деликатно и незаметно подкармливала в трудные минуты нас, друзей ее мужа, безалаберных холостяков.

Не могу не вспомнить с благодарностью и нежностью милую Татьяну Николаевну, ее наваристый борщ, крепкий чай внакладку из семейного самовара.

У синеглазого был настоящий большой письменный стол, как полагается у всякого порядочного русского писателя, заваленный рукописями, газетами, газетными вырезками и книгами, из которых торчали бумажные закладки. Синеглазый немножко играл роль известного русского писателя, даже, может быть, классика, и дома ходил в полосатой байковой пижаме, стянутой сзади резинкой, что не скрывало его стройной фигуры, и, конечно, в растоптанных шлепанцах.

Описание отличного украинского борща и крепкого чая с сахаром опускаю, хотя и должен отметить, что в отличие от всех нас чай подавался синеглазому как главе семьи и крупному писателю в мельхиоровом подстаканнике, а всем прочим просто так, в стаканах.

Иногда случалось, что борщ и чай не насыщали нас. Хотелось еще чего-нибудь вкусненького, вроде твердой копченой московской колбасы с горошинами черного перца, сардинок, сыра и стакана доброго вина. А денег, конечно, не было. Тогда происходило следующее: синеглазого и меня отправляли на промысел. Складывали последние копейки. Выходило рубля три. В лучшем случае пять. И с этими новыми, надежными рублями, пришедшими на смену бумажным миллионам и даже миллиардам военного коммунизма, называвшимися просто «лимонами», мы должны были идти играть в рулетку, с тем чтобы выиграть хотя бы червонец — могучую советскую десятку.

— Эй, господа молодые люди! — кричали нам снизу

бородатые, как лесные разбойники, гардеробщики в синих поддевках. — Куда же вы прете не раздевшись!

Но мы, делая вид, что не слышим, уже вступали в своих потертых пальто в игорный зал, где вокруг громадного овального стола сидели игроки в рулетку и молодой человек с зеркальным пробором и лицом сукина сына, так называемый крупье, раскладывал лопаткой с длинной ручкой ставки и запускал белый шарик в карусель крутящегося рулеточного аппарата с никелированными ручками. При этом он гвардейским голосом провозглашал:

— Гэспэда, делайте вашу игру. Мерси. Ставок больше нет.

Вокруг стола сидели и стояли игроки, страшные существа с еще более страшными названиями — «частники», «нэпманы» или даже «совбуры», советские буржуи. На всех на них лежал особый отпечаток какого-то временного, незаконного богатства, жульничества, наглости, мещанства, смешанных со скрытым страхом.

Прежде чем поставить нашу единственную трешку, мы долго совещались.

— Как вы думаете, на что будем ставить? На черное или на красное? — озабоченно спросил синеглазый.

— Ставим на красное, — решительно сказал я. Синеглазый долго размышлял, а потом ответил:

— На красное нельзя.

— Почему?

— Потому что красное может не выиграть, — сказал он, пророчески глядя вдаль.

— Ну тогда на черное, — предложил я, подумав.

— На черное? — с сомнением сказал синеглазый и задумчиво вздохнул. — Нет, дорогой. — Он назвал мое уменьшительное имя. — На черное нельзя.

— Но почему?

— Потому что черное может не выиграть.

В таком духе мы долго совещались, пытаясь как-нибудь обхитрить судьбу. Однако судьба почти всегда была к нам благосклонна. Мы ставили на черное или на красное, на чет или на нечет и почему-то выигрывали. Быть может, нам помогала нечистая сила, о которой впоследствии синеглазый написал свой знаменитый роман. Не делая второй ставки и схватив свои шесть рублей, мы тут же бежали по вьюжной Тверской к Елисееву и покупали ветчину, колбасу, сардинки, свежие батоны и сыр чеддер — непременно чеддер! — который особенно любил синеглазый и умел выбирать, вынюхивая его своим лисьим носом, ну и, конечно, бутылки две настоящего заграничного портвейна.

Представьте себе, с какой надеждой ожидала нас в доме «Эльпит-рабкоммуна» в комнате синеглазого вся наша гудковская компания…»

Конечно, невозможно одновременно быть и богатым, вальяжным классиком и случайным нищим игроком, превращающим три рубля в шесть! Но такова уж жизнь и такова катаевская память, объединившая вместе блеск и нищету писательского существования.

А «большой письменный стол», который был у Булгакова, «как полагается у всякого порядочного русского писателя», появился следующим образом. Татьяна Николаевна Булгакова рассказывала, что однажды она шла по Москве и вдруг услышала: «Тасенька, здравствуй!» Это была жена саратовского казначея. Она позвала Тасю к себе: «Пойдем — у меня же твоя родительская мебель». Оказывается, она вывезла из Саратова мебель, в том числе стол родителей Татьяны Николаевны. Стол был ореховый, овальный, на гнутых ножках. Тася пришла с Михаилом Афанасьевичем, стол ему очень понравился, и они его забрали и взяли еще семейное собрание сочинений Данилевского в хороших переплетах. Стол был бабушки со стороны Таенного отца, а ей достался от кого-то из предков. Потом Булгаковы купили длинную книжную полку — боковинами ее были два сфинкса — и повесили ее над письменным столом. Так благодаря дальним родственникам жены и появился у Булгакова первый настоящий писательский стол.

С лета 1922 года Михаила Афанасьевича начала печатать выходившая в Берлине газета «Накануне» и ее литературное приложение. Эта газета выходила в Берлине на советские деньги и была относительно либеральной, способствуя возвращению эмигрантской интеллигенции на родину. Булгаков напечатал там более двух десятков лучших очерков, рассказов и фельетонов того времени. Благодаря этим публикациям он стал довольно известным журналистом, его читали, он был востребован. Газета «Накануне» имела московскую редакцию, и возглавлявший «Литературное приложение» А. Н. Толстой требовал у москвичей: «Шлите побольше Булгакова».

Сам Михаил Афанасьевич, конечно же, понимал, что «Накануне» играет определенную политическую роль, и сотрудничал в газете не по желанию, а скорее по жестокой материальной необходимости.

Позже он так отзывался о тех, кто работал в «Накануне»: «Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне». Могу себя поздравить, что я в их

среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собой. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь «Накануне», никогда бы не увидели света ни «Записки на манжетах», ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой».

Да, Булгаков не герой, он — автор, который хочет сказать свое литературное слово. А еще он автор, невероятно чувствовавший и, главное, понимавший время. В очерках Булгакова, написанных для заработка, встает правдивая картина того времени, времени перемен. Страна переходила к эпохе нэпа, люди ожидали чего-то радостного и яркого, ожидали событий, которые изменят их убогую жизнь на другую, более достойную.

«Каждый бог на свой фасон, — писал Булгаков в одном из своих очерков. — Меркурий, например, с крылышками на ногах. Он — нэпман и жулик. А мой любимый бог — бог Ремонт, вселившийся в Москву в 1922 году, в переднике, вымазан известкой, от него пахнет махоркой. На Лубянке, на углу Мясницкой, было бог знает что: какая-то выгрызенная плешь, покрытая битым кирпичом и осколками бутылок. А теперь, правда, одноэтажное, но все же здание! З-д-а-н-и-е! Цельные стекла. Все как полагается. За стеклами, правда, ничего еще нет, но снаружи уже красуется надпись золотыми буквами: «Трикотаж». Я с чувством наслаждения прохожу теперь пассажи. Петровка и Кузнецкий в сумерки горят огнями. И буйные гаммы красок за стеклами — улыбаются лики игрушек кустарей. Лифты пошли! Сам видел сегодня. Имею я право верить своим глазам? Этот сезон подновляли, штукатурили, подклеивали. На будущий сезон, я верю, будут строить. Осенью, глядя на сверкающие адским пламенем котлы с асфальтом на улицах, я вздрагивал от радостного предчувствия. Будут строить, несмотря ни на что…»

Булгаков тонко чувствовал быстротекущую и неповторимую действительность. Он писал о ней восторженно и язвительно, в тонах сатирических и веселых, проявляя невероятное чувство стиля, соответствующего времени. Он яростно критиковал мещанство, радовался первым росткам нормальной человеческой жизни, видел в своих мечтах Москву преображенной, чистой, красивой, радостной.

Постепенно приходит признание, Булгаков находится в первых рядах московских литераторов, молодых прозаиков «новой волны». Его приглашают на литературные вечера,

собрания и концерты, он выступает в кружках гуманитарной интеллигенции, публикуются его повести «Дьяволиада» и «Роковые яйца». Все, написанное к этому времени Булгаковым, вошло в три книжки избранной прозы, вышедших в Москве и Ленинграде.

Но успехи на писательской стезе привели и к изменениям в личной жизни Михаила Афанасьевича. В начале января 1924 года он познакомился с недавно вернувшейся из-за границы Любовью Евгеньевной Белозерской, и вскоре она стала его второй женой.

Маленький флот из двух кораблей, где же ты? Сколько штормов было пережито вместе! Татьяна Николаевна Лаппа долгие годы была рядом с мужем, работала вместе с ним, переносила тяготы войны, радовалась его успехам, спасала от болезней, кормила его и ухаживала за ним, была для него другом, сиделкой, внимательной слушательницей. И из этой единой неразрывной жизни Булгаков решил уйти.

Произошло это в 1924 году. Он уже писал по ночам роман «Белая гвардия», Тася тоже не спала ночами, она грела ему воду, потому что было холодно и у него мерзли руки. «Однажды утром он сказал, что если достанет подводу, чтобы отвезти вещи, то сегодня уйдет от меня», — вспоминала Татьяна Николаевна. Она помогла собрать ему книжки.

Потом Булгаков навещал бывшую жену, приносил деньги. Когда в журнале «Россия» вышел роман «Белая гвардия», он принес его Татьяне Николаевне. «Я все-таки удивляюсь, — сказала она, увидев, что роман посвящен второй жене — Белозерской, — кажется, все это мы пережили вместе. Я все время сидела около тебя, когда ты писал, грела тебе воду. Вечерами тебя ждала.» А он объяснил: «Она меня попросила. Я чужому человеку не могу отказать, а своему — могу». Татьяна Николаевна вспылила: «Ну, и забирай свою книжку…» и бросила журнал ему под ноги. Булгаков не раз говорил жене:

«Из-за тебя, Тася, Бог меня покарает». Он понимал. Он все понимал. Но властная рука судьбы вела его по пути, который был ему предназначен.

Михаил Афанасьевич не был предан любившим его женщинам, он был предан творчеству, непреходящей идее стать великим писателем, написать роман — главный роман своей жизни. Не случайно он записал в дневнике: «В литературе вся моя жизнь…» Он говорил правду.

Татьяна Николаевна осталась одна — без профессии и практически без средств к существованию, по ее собственным словам, осталась «гола как мышь». Из комнаты в квартире 34 дома 10 на Большой Садовой, где она жила с Булгаковым, ей

пришлось перебраться в полуподвальную комнату в том же доме. Сначала она поступила на курсы машинисток, потом на курсы кройки и шитья, потом пошла работать на стройку. В конце концов вышла замуж и покинула Москву вместе с новым мужем. Ей пришлось пережить еще одну измену — в 1946 году второй муж вернулся с фронта с другой женщиной. В третий раз Татьяна Николаевна вышла замуж за бывшего друга Булгакова адвоката Давида Александровича Кисельгофа и в 1947 году уехала вместе с ним в Туапсе, где прожила долгие годы. Она умерла 10 апреля 1982 года.

Судя по всему, Татьяна Николаевна сохраняла любовь к Булгакову на протяжении всей своей жизни. В конце жизни она рассказала свой сон — покойный Миша пришел к ней и сказал: «Моя Маргарита — это ты. Ей передалась твоя способность к жертвенной любви».

Исследовательница творчества Булгакова Лидия Яновская в книге «Творческий путь Михаила Булгакова» так рассказала о своей встрече с Татьяной Николаевной в 1975 году:». у нас были два полных дня — от поезда, который привез меня ранним утром в Туапсе, и до того позднего, вечернего, которым я уехала на следующий день. Незадолго перед тем Татьяна Николаевна овдовела, была очень одинока, и, пожалуй, в глубине души ей хотелось, чтобы я разговорила ее. А я не торопила. Мы пили чай, гуляли по набережной, посидели в ресторане, посплетничали об общих знакомых (время смешалось, и Юрий Олеша, с которым я и виделась-то раз в жизни, и Илья Ильф, которого я не видела никогда, уже казались нам совсем по-домашнему общими знакомыми). Напряжение медленно сходило с нее. И был момент, о котором я расскажу сейчас впервые.

Она сидела на своей тахте у стены. В маленькой, наполненной весенним светом однокомнатной квартире (маленькая, но отдельная квартира — мечта старости в советской России) это было ее спальное ложе, на день покрытое старым, красноватых тонов, уже поблекшим, но все еще тяжелым ковром. И горестно рассказывала, как в 1918 году она и Булгаков оставили свои вещи в Москве, у «дядьки» Николая Михайловича Покровского, а когда в 1921-м вернулись, оказалось, что «дядька» небрежно свалил узлы на чердаке и все погибло от сырости и от моли. Погибли одеяла с толстым ворсом… и две роскошные лисьи шкуры — ее отец, заядлый охотник, сам подстрелил этих двух лис… и старинные, прекрасные ковры, подаренные ей отцом. И только один ковер — Татьяна Николаевна всплескивала руками, радуясь, что догадалась тогда пересыпать его табаком, — вот этот самый, покрывавший потом ее и Булгакова постель.

И вдруг с бессознательной нежностью, этим нечаянным движением женщины, гибким, поэтическим, непредсказуемым, провела ладонью… не по ковру, а чуть-чуть над ковром, по какому-то, ей одной видимому, свечению над ковром. И я, обомлев, поняла — нет, не поняла, увидела! — что она и теперь любит… что она всегда любила его, самоотверженно и страстно, от тех юных — не девичьих, девчоночьих — лет до нынешней восьмидесятитрехлетней старости… его, одного-единственного, и два ее последующих брака не имеют никакого значения. Любит и поэтому — не просите! — никогда не простит. Любит и поэтому же давно и все простила…»

Она все понимала. Она простила, потому что любила ЕГО, а не себя.

Тогда же, в 1924 году, родственники отнеслись к разводу Булгакова с Тасей отрицательно, зато богемная творческая среда на узы брака смотрела легко и поведение писателя отнюдь не осуждала.

Новый выбор Булгакова был не случаен: Любовь Евгеньевна Белозерская была женщиной яркой, увлекалась литературой и театром, одно время сама танцевала в Париже, была весьма начитанна, обладала хорошим литературным и художественным вкусом. К тому же она ценила писательский талант самого Булгакова.

Любовь Евгеньевна и Михаил Афанасьевич зарегистрировали свой брак 30 апреля 1925 года. Для Белозерская это тоже был не первый брак. Она окончила с серебряной медалью Демидовскую женскую гимназию в Санкт-Петербурге, во время войны была сестрой милосердия, а в 1918 году переехала в Киев и стала женой известного журналиста Ильи Марковича Василевского, писавшего под псевдонимом «Не-Буква».

Их семья познала непростую жизнь эмигрантов. В книге «У чужого порога (записки эмигрантки)», написанной Белозерской в 1970-е годы, есть описание того, как семья отплывала из Одессы в Константинополь: «…Хрипло и, как мне показалось, зловеще прозвучал последний гудок. В утробе парохода что-то заворчало. Он дрогнул и стал медленно, словно конфузясь, бочком отходить от одесской пристани. Еще кто-то, прощаясь, махал платком, еще кто-то кричал последние, уносимые ветром слова, но расстояние между пароходом и берегом неумолимо ширилось. Черная полоса воды все росла, росла, зачеркивая прошлое.»

Из Константинополя супруги переехали в Париж, а затем в Берлин, где Василевский стал сотрудничать в «сменовеховской» просоветской газете «Накануне».

На страницах книги «У чужого порога» Белозерская

рассказала о своих зарубежных встречах с Есениным, Маяковским, представителями русской эмиграции: «…Вспоминаю вечер у Ю. В. Ключникова, когда были Есенин и Дункан. Его попросили прочесть стихи. Он сорвался с места (всегда читал свои стихи стоя) и прочел монолог Хлопуши из поэмы «Пугачев». Вряд ли Дункан понимала его, но надо было видеть, как менялось выражение ее лица по мере того, как менялись интонации голоса Есенина. Я смотрела на нее, а слушала его.»

Как видно по отрывкам из ее книг, сама Любовь Евгеньевна прекрасно владела пером, писала емко и образно, кроме того, она была хорошей рассказчицей. Позже ее воспоминания об эмиграции Булгаков использовал при написании пьесы «Бег». В героине из «Бега» Серафиме отразилась жизнь Любови Евгеньевны, а в Голубкове — черты характера самого Булгакова.

Любовь Евгеньевна и Михаил Афанасьевич впервые встретились в начале января 1924 года на вечере, устроенном редакцией «Накануне» в честь писателя Алексея Николаевича Толстого. Белозерская так пишет об этом в своих воспоминаниях: «Москва только что шумно отпраздновала встречу Нового, 1924 года. Была она в то время обильна разнообразной снедью, и червонец держался крепко. Из Берлина на родину вернулась группа «сменовеховцев». Некоторым из них захотелось познакомиться или повидаться с писателями и журналистами — москвичами. В пышном особняке в Денежном переулке был устроен вечер. Я присутствовала на этом вечере.

Все трое — они пришли вместе: Дмитрий Стонов, Юрий Слезкин и Михаил Булгаков. Только вспоминать о них надо не как о трех мушкетерах, а в отдельности. О первом я помню, что он писал рассказы и нередко печатался в те годы. А вот Юрий Слезкин. Неужели это тот самый, петербургско-петроградский любимец, об успехах которого у женщин ходили легенды? Ладный, темноволосый, с живыми черными глазами, с родинкой на щеке, на погибель дамским сердцам. А за Слезкиным стоял новый, начинающий писатель — Михаил Булгаков, печатавший в берлинском «Накануне» «Записки на манжетах» и фельетоны. Нельзя было не обратить внимания на необыкновенно свежий его язык, мастерский диалог и такой неназойливый юмор. Мне нравилось все, принадлежавшее его перу и проходившее в «Накануне». В фельетоне «День нашей жизни», напечатанном в № 424 этой газеты, он мирно беседует со своей женой. Она говорит: «И почему в Москве такая масса ворон. Вон за границей голуби. В Италии.» — «Голуби тоже сволочь порядочная», — возражает он.

Прямо эпически-гоголевская фраза! Сразу чувствуется, что в

жизни что-то не заладилось.

Передо мной стоял человек лет 30–32-х; волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны; когда говорит, морщит лоб. Но лицо в общем привлекательное, лицо больших возможностей. Это значит — способное выражать самые разнообразные чувства. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого же все-таки походил Михаил Булгаков. И вдруг меня осенило — на Шаляпина!

Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, «распашонкой». Я не привыкла к такому мужскому силуэту; он показался мне слегка комичным, так же как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу окрестила «цыплячьими» и посмеялась. Когда мы познакомились ближе, он сказал мне не без горечи: «Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась.» Я поняла, что он обидчив и легко раним. Другой не обратил бы внимания. На этом же вечере он подсел к роялю и стал напевать какой-то итальянский романс и наигрывать вальс из «Фауста»».

Любовь Евгеньевна многое увидела в Булгакове: и мастерский диалог, и неназойливый юмор, и то, что в его жизни что-то не заладилось, а он обидчив и легко раним. Их встречи, сначала случайные, вскоре стали постоянными. «Все самые важные разговоры происходили у нас на Патриарших прудах, — пишет Белозерская в своей книге «О, мед воспоминаний». — Одна особенно задушевная беседа, в которой Михаил Афанасьевич — наискрытнейший человек — был предельно откровенен, подкупила меня и изменила мои холостяцкие настроения. Мы решили пожениться. Потом мы зарегистрировались в каком-то отталкивающем помещении ЗАГСа в Глазовском (ныне ул. Луначарского) переулке, что выходил на бывшую церковь Спаса на Могильцах».

А вот воспоминания писателя Юрия Слезкина, касающиеся этой же ситуации: «Тут у Булгакова пошли «дела семейные» — появились новые интересы, ему стало не до меня. Ударил в нос успех! К тому времени вернулся из Берлина Василевский (Не-Буква) с женой своей Любовью Евгеньевной, не глупая, практическая женщина, многое испытавшая на своем веку, оставившая в Германии свою «любовь», — Василевская приглядывалась ко всем мужчинам, которые могли бы помочь строить ее будущее. С мужем она была не в ладах… Булгаков подвернулся кстати. Через месяц-два все узнали, что Миша бросил Татьяну Николаевну и сошелся с Любовью Евгеньевной».

Конечно, сколько людей, столько и взглядов на жизненную ситуацию. Но один из них интересен более всего — это взгляд самого Булгакова. В своем дневнике он очень откровенно пишет о новой возлюбленной: «Подавляет меня чувственно моя жена. Это и хорошо, и отчаянно, и сладко, и, в то же время, безнадежно сложно. Как заноза сидит. Но один, без нее, уже не мыслюсь. Видно привык. Это ужасно глупо при моих замыслах, но, кажется, я в нее влюблен. Одна мысль интересует меня. При всяком ли она приспособилась бы так же уютно, или это избирательно для меня?»

Множество мужчин задавались подобным вопросом, внимательно приглядываясь к любимой женщине, но он практически всегда оставался открытым. Булгаков тоже не смог на него ответить. Вероятно, такова мужская доля.

Любовь Евгеньевна действительно устраивалась уютно, а скучать не умела. Ее веселый нрав и природная жизнерадостность сказывались во всем. Вот как она описывает первые месяцы семейной жизни: «Сестра М.А. Надежда Афанасьевна Земская приняла нас в лоно своей семьи, а была она директором школы и жила на антресолях здания бывшей гимназии. Получился «терем-теремок». А в теремке жили: сама она, муж ее Андрей Михайлович Земский, их маленькая дочь Оля, его сестра Катя и сестра Надежды Афанасьевны — Вера. Это уж пять человек. Ждали приезда из Киева младшей сестры, Елены Булгаковой. Тут еще появились и мы.

К счастью, было лето, и нас устроили в учительской на клеенчатом диване, с которого я ночью скатывалась, под портретом сурового Ушинского. Были там и другие портреты, но менее суровые, а потому они и не запомнились».

Яркая картина. Так и видишь суровый неодобрительный взгляд великого педагога Ушинского, направленный на клеенчатый диван, приютивший счастливых влюбленных!

В воспоминаниях Любови Евгеньевны с любовью описана семья Булгаковых: «С кротостью удивительной, с завидным терпеньем — как будто так и надо и по-другому быть не может — принимала Надежда Афанасьевна всех своих родных. В ней особенно сильно было развито желание не растерять, объединить, укрепить булгаковскую семью. Я никогда не видела столько филологов зараз в частном доме: сама Надежда Афанасьевна, муж ее, сестра Елена и трое постоянных посетителей, один из которых — Михаил Васильевич Светлаев — стал вскоре мужем Елены Афанасьевны Булгаковой.

Природа оформила Булгаковых в светлых тонах — все голубоглазые, блондины (в мать), за исключением младшей,

Елены. Она была сероглазая, с темно-русыми пышными волосами. Было что-то детски-милое в ее круглом, будто прочерченном циркулем лице.

Ближе всех из сестер Михаил Афанасьевич был с Надеждой. Существовал между ними какой-то общий духовный настрой, и общение с ней для него было легче, чем с другими.

Но сестра Елена тоже могла быть ему достойной партнершей по юмору. Помню, когда я подарила семейству Земских абажур, который сделала сама из цветистого ситца, Елена назвала мой подарок «смычкой города с деревней», что как нельзя лучше соответствовало злобе дня.

Муж Надежды Афанасьевны Андрей Михайлович смотрел очень снисходительно на то, как разрасталось его семейство. Это был выдержанный и деликатный человек.»

Вскоре Михаил Афанасьевич и Любовь Евгеньевна перебрались в другое жилье, о котором в ее воспоминаниях рассказывается с не истребимым любыми житейскими невзгодами юмором: «Мы живем в покосившемся флигельке во дворе дома № 9 по Обухову, ныне Чистому переулку. На соседнем доме № 7 сейчас красуется мемориальная доска: «Выдающийся русский композитор Сергей Иванович Танеев и видный ученый и общественный деятель Владимир Иванович Танеев в этом доме жили и работали». До чего же невзрачные жилища выбирали себе знаменитые люди!

Дом свой мы зовем «голубятней». Это наш первый совместный очаг. Голубятне повезло: здесь написана пьеса «Дни Турбиных», фантастические повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце» (кстати, посвященное мне). Но все это будет позже, а пока Михаил Афанасьевич работает фельетонистом в газете «Гудок». Он берет мой маленький чемодан по прозванью «щенок» (мы любим прозвища) и уходит в редакцию. Домой в «щенке» приносит он читательские письма — частных лиц и рабкоров. Часто вечером мы их читаем вслух и отбираем наиболее интересные для фельетона. Невольно вспоминается один из случайных сюжетов. Как-то на строительстве понадобилась для забивки свай копровая баба. Требование направили в главную организацию, а оттуда — на удивленье всем — в распоряжение старшего инженера прислали жену рабочего Капрова. Это вместо копровой-то бабы!»

Фельетоны Михаил Афанасьевич писал быстро. Вот что он сам вспоминал по этому поводу: «…сочинение фельетона строк в семьдесят пять — сто отнимало у меня, включая сюда и курение, и посвистывание, от восемнадцати до двадцати минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихиканье с машинисткой, —

восемь минут. Словом, в полчаса все заканчивалось».

Любовь Евгеньевна быстро сблизилась со старомосковской, «пречистенской» интеллигенцией и помогла войти в этот круг и Михаилу Афанасьевичу. Здесь были писатели, художники, театральные декораторы, филологи, философы, искусствоведы и люди многих других гуманитарных профессий, революции не сочувствующие, но с ней смирившиеся. Для Булгакова пречистенское время стало временем начала его театрального успеха, начала драматургической деятельности. Именно здесь написаны пьесы «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров», знаменитые «Записки покойника» или «Театральный роман». Продолжалось и сотрудничество с газетой «Накануне».

Так, после открытия первой Всероссийской сельскохозяйственной выставки редакция «Накануне» заказала Булгакову обстоятельный очерк об этом событии. Целую неделю Михаил Афанасьевич проводил на выставке помногу часов. В результате появился очерк «Золотистый город», сделанный с превосходной писательской наблюдательностью.

Вот как описывает весьма пикантную ситуацию, сложившуюся в связи с написанием этого очерка, Эм. Миндлин, писатель и сотрудник «Накануне»: «Заведующему финансами московской редакции «Накануне» С. Н. Калменсу невообразимо импонировали светские манеры Булгакова. Скуповатый со всеми другими, прижимистый Калменс ни в чем ему не отказывал.

Открылась первая Всероссийская сельскохозяйственная выставка на территории бывшей свалки. Все мы писали тогда о выставке в московских газетах. Но только Булгаков преподал нам «высший класс» журналистики.

Это был мастерски сделанный, искрящийся остроумием, с превосходной писательской наблюдательностью написанный очерк. Много внимания автор сосредоточил… на всевозможных соблазнительных национальных напитках и блюдах. Ведь эмигрантская печать злорадно писала о голоде в наших национальных республиках!

Очерк я отправил в Берлин, и уже дня через три мы держали в Москве последний номер «Накануне» с очерком Булгакова на самом видном месте.

Наступил день выплаты гонорара. Счет на производственные расходы у Михаила Афанасьевича был уже заготовлен. Но что это был за счет!.. Уж не помню, сколько там значилось обедов и ужинов, сколько легких и нелегких закусок и дегустаций вин! Всего ошеломительней было то, что весь этот гомерический счет на шашлыки, шурпу, люля-кебаб, на фрукты и вина был на двоих.

На Калменса страшно было смотреть. Белый как снег,

скаредный наш Семен Николаевич Калменс, задыхаясь, спросил — почему же счет за недельное пирование на двух лиц?..

Булгаков невозмутимо ответил: «А извольте-с видеть, Семен Николаевич. Во-первых, без дамы я в ресторан не хожу. Во-вторых, у меня в фельетоне отмечено, какие блюда даме пришлись по вкусу. Как вам угодно-с, а произведенные мною производственные расходы покорнейше прошу возместить». И возместил! Калменс от волнения едва не свалился. И все-таки возместил.».

Но деньги Калменса, потраченные так радостно, можно считать редким случаем. Чаще всего происходило наоборот: Булгакову не удавалось «выбить» из Калменса необходимые суммы. Вот дневниковая запись Булгакова от 9 сентября 1923 года: «Уже холодно. Осень. У меня как раз безденежный период. Вчера я, обозлившись на вечные прижимки Калменса, отказался взять у него предложенные мне 500 млн рублей и из-за этого сел в калошу.»

Тем не менее, Булгаков находился тогда в зените славы. Семья вела насыщенную, а порой и суматошную жизнь: они часто ходили в гости, на банкеты, концерты, в театры, зимой катались на лыжах. Любовь Евгеньевна очень точно сформулировала в своей книге «О, мед воспоминаний» главный жизненный принцип Булгакова: «Мы часто опаздывали и всегда торопились. Иногда бежали за транспортом. Но Михаил Афанасьевич неизменно приговаривал: «Главное — не терять достоинства»».

В доме Михаила Афанасьевича и Любови Евгеньевны жил пес Бутон, названный в честь слуги Мольера из булгаковской пьесы. Любовь Евгеньевна вспоминала, что она повесила на входной двери под карточкой Михаила Афанасьевича другую карточку, где было написано: «Бутон Булгаков. Звонить два раза». Это ввело в заблуждение пришедшего к ним фининспектора, который спросил Михаила Афанасьевича: «Вы с братцем живете?..»

Еще в доме жила кошка Мука. «Кошку Муку, — вспоминала Любовь Евгеньевна, — Михаил Афанасьевич на руки никогда не брал, был слишком брезглив, но на свой письменный стол допускал, подкладывая под нее бумажку. Исключение делал перед родами: кошка приходила к нему, и он ее массировал». Еще был котенок Флюшка, они с Бутоном «затевали бурные игры и возились, пока не впадали в изнеможение. Эти игры мы называли «сатурналиями». Флюшка. — прототип веселого кота Бегемота. «Не шалю. Никого не трогаю. Починяю примус»».

Булгаков писал жене в одной из записок: «Кота я вывел на свежий воздух, причем он держался за мою жилетку и рыдал. Твой любящий. Я на тебя, Ларион, не сержусь».

Булгаков записывает в своем дневнике: «…я слышу в себе, как взмывает моя мысль, и верю, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я знаю… В литературе я медленно, но все же иду вперед. Это я знаю твердо. Плохо лишь то, что у меня никогда нет ясной уверенности, что я действительно хорошо написал. Как будто пленкой какой-то застилает мой мозг и сковывает руку в то время, когда мне нужно описывать то, во что я так глубоко и по-настоящему проникаю мыслью и чувством».

Невероятная уверенность в себе сменяется у Булгакова глубокими сомнениями в правильности сделанного им выбора, а эти сомнения, в свою очередь, вытесняются новой волной уверенности в своем призвании: «В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе была причиной этого. Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами, волей-неволей выливающимися в произведениях, трудно печататься и жить. В литературе вся моя жизнь. Ни к какой медицине я никогда больше не вернусь. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем».

В «Заметках автобиографического характера», записанных в 1928–1929 годах другом Михаила Афанасьевича филологом П. С. Поповым, есть такие булгаковские строки: «Первый рассказ написал лет семи: «Похождения Светлана». Начинался рассказ так: «Внизу большое поле.», потому что всадник мог видеть поле перед собой. До 5-го класса гимназии не писал, наступил перерыв. Затем стал писать юморески. В революционные годы писал фельетоны. Наиболее выдающийся — «День главного врача», где описывается военная обстановка. Свой роман (речь идет о «Белой гвардии») считаю неудавшимся, хотя выделяю из своих других вещей, так как к замыслу относился очень серьезно. По вопросу предпочтения повествовательной или драматической формы полагаю, что тут нет разницы в смысле выделения одного в противовес другому — обе формы связаны так же, как левая и правая рука пианиста. Потребность слушать музыку для меня очень характерна. Можно сказать, что музыку, хорошую, я обожаю. Способствует творчеству. Очень люблю Вагнера. Предпочитаю симфонический оркестр с трубами. Пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе».

В 1923–1924 годах Булгаков пишет свое главное произведение того времени — роман «Белая гвардия». Первые две части этого романа были опубликованы в журнале «Россия», а третья не вышла из-за закрытия журнала. Полный текст романа

был издан в конце 1920-х годов в Париже.

Об этом романе сам Булгаков говорит в «Автобиографии»: «Год писал роман «Белая гвардия». Роман этот я люблю больше всех других моих вещей».

Самым известным из опубликованных произведений Михаила Афанасьевича той поры была повесть «Роковые яйца». Она неоднократно печаталась при жизни автора. В 1925 и 1926 годах ее опубликовал руководимый Н. С. Ангарским сборник «Недра», о чем в своих воспоминаниях пишет Петр Никанорович Зайцев: «В один из сентябрьских дней М. Булгаков зашел в «Недра», и я сообщил ему ответ редколлегии. Наш отказ принять «Белую гвардию» резал его. За это время он похудел. По-прежнему перебивался случайными заработками от журнальчиков Дворца труда на Солянке и сильно нуждался. Он присел за соседним столиком и задумался: что-то чертил машинально на случайно подвернувшемся листке бумаги.

Вдруг меня осенило. «Михаил Афанасьевич, — обратился я к нему, — нет ли у вас чего-нибудь другого готового, что мы могли бы напечатать в «Недрах»?» Чуть подумав, он ответил: «Есть у меня почти готовая повесть… фантастическая.» Я протянул ему лист чистой бумаги: «Пишите заявление с просьбой выдать сто рублей аванса в счет вашей будущей повести. Когда вы ее можете принести?» — «Через неделю или полторы она будет у вас», — ответил он.

Я оформил его заявление, написав на нем: «Выдать сто рублей», и Булгаков помчался в бухгалтерию Мосполиграфа. Минут через десять-пятнадцать он вернулся с деньгами и крепко пожал мне руку».

Воспоминания — вещь удивительная, они могут не совпадать у разных людей, описывающих одну и ту же ситуацию. Так, сам Булгаков написал в дневнике: «Сегодня день потратил на то, чтобы получить 100 рублей в «Недрах». Большие затруднения с моей повестью-гротеском «Роковые яйца». Ангарский наметил мест 20, которые надо по цензурным соображениям изменить. Пройдет ли цензуру».

Повесть «Роковые яйца» — это история о том, как профессор зоологии Владимир Ипатьевич Персиков открыл фантастический луч, ускоряющий рост всего живого, и о том, как это открытие повлияло на мир. «В повести испорчен конец, потому что писал я ее наспех», — отметил в дневнике Булгаков. В первом варианте вылупившиеся из яиц чудовищные змеи должны были достичь Москвы, а в заключении — разрушенная Москва и огромный змей, обвившийся вокруг колокольни Ивана Великого. Максим Горький писал Михаилу Леонидовичу Слонимскому: «Булгаков

очень понравился мне, очень, но он не сделал конец рассказа. Поход пресмыкающихся на Москву не использован, а подумайте, какая это чудовищно интересная картина!»

О «Роковых яйцах» написал и критик Виктор Борисович Шкловский, которого Булгаков в «Белой гвардии» вывел в образе «антихриста» Шполянского: «Как пишет Михаил Булгаков? Он берет вещь старого писателя, не изменяя строение и переменяя его тему. Возьмем один из типичных рассказов Михаила Булгакова «Роковые яйца». Как это сделано? Это сделано из Уэллса… Я не хочу доказывать, что Михаил Булгаков плагиатор. Нет, он способный малый, похищающий «Пищу богов» для малых дел. Успех Михаила Булгакова — успех вовремя приведенной цитаты».

Заметим, что вовремя приведенная цитата ненаказуема, а в «Роковых яйцах» есть много замечательных страниц, смешных и страшных эпизодов, социальных сопоставлений и пророчеств.

Булгаков неоднократно читал на публике эту повесть. Он писал в дневнике: «Вечером у Никитиной читал свою повесть «Роковые яйца». Когда шел туда, ребяческое желание отличиться и блеснуть, а оттуда — сложное чувство. Что это? Фельетон? Или дерзость? А может быть, серьезное? Тогда невыпеченное. Во всяком случае, там сидело человек 30, и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература. Боюсь, как бы не саданули меня за все эти подвиги «в места не столь отдаленные»».

В начале 1925 года была написана повесть «Собачье сердце», не разрешенная к печати и увидевшая свет лишь спустя несколько десятилетий. Но текст этой повести досконально изучили сотрудники НКВД практически сразу же после ее написания.

Один из доносов на Булгакова был послан после февраля 1926 года. В нем излагались мысли, высказанные Булгаковым на одном из литературных диспутов: «Пора перестать большевикам смотреть на литературу с утилитарной точки зрения. Надо дать возможность писателю писать просто о человеке, а не о политике».

Именно этот донос стал причиной обыска в квартире писателя в мае 1926 года. Любовь Евгеньевна была свидетельницей этому. Вот как описан этот визит в ее воспоминаниях: «…в один непрекрасный вечер на голубятню постучали (звонка у нас не было) и на мой вопрос «кто там?» бодрый голос арендатора ответил: «Это я, гостей к вам привел!»

На пороге стояли двое штатских: человек в пенсне и просто невысокого роста человек — следователь Славкин и его помощник с обыском. Арендатор пришел в качестве понятого.

Булгакова не было дома, и я забеспокоилась: как-то примет он приход «гостей», и попросила не приступать к обыску без хозяина, который вот-вот должен придти».

Еще не пришли те времена, когда обыски стали проводить более кардинальными методами и с обыскиваемыми уже не церемонились. В том случае «гости» согласились подождать.

«Все прошли в комнату и сели, — продолжает свой рассказ Любовь Евгеньевна. — Арендатор развалясь на кресле, в центре. Личность это была примечательная, на язык несдержанная, особенно после рюмки-другой. Молчание. Но длилось оно, к сожалению, недолго.

— А вы не слыхали анекдота, — начал арендатор. («Пронеси, господи!» — подумала я).

— Стоит еврей на Лубянской площади, а прохожий его спрашивает: «Не знаете ли вы, где тут Госстрах?».

— Госстрах не знаю, а госужас вот.»

Раскатисто смеется сам рассказчик. Я бледно улыбаюсь. Славкин и его помощник безмолвствуют. Опять молчание — и вдруг знакомый стук.

Я бросилась открывать и сказала шепотом М. А.:

— Ты не волнуйся, Мака, у нас обыск.

Но он держался молодцом (дергаться он начал значительно позже). Славкин занялся книжными полками. «Пенсне» стало переворачивать кресла и колоть их длинной спицей.

И тут случилось неожиданное. М. А. сказал:

— Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю. (Кресла были куплены мной на складе бесхозной мебели по 3 р. 50 коп. за штуку.)

И на нас обоих напал смех. Может быть, и нервный. Под утро зевающий арендатор спросил:

— А почему бы вам, товарищи, не перенести ваши операции на дневные часы?

Ему никто не ответил. Найдя на полке «Собачье сердце» и дневниковые записи, «гости» тотчас же уехали».

Повести «Собачье сердце» не повезло во многих смыслах: она поздно пришла к читателю, ее понимали весьма односторонне и в сталинские времена, когда она была запрещена, и позже, когда уже была напечатана с разрешения властей.

Следивший за творчеством Булгакова В. В. Вересаев писал М. А. Волошину в апреле 1925 года: «…цензура режет его беспощадно. Недавно зарезала чудесную вещь «Собачье сердце», и он совсем падает духом. Да и живет почти нищенски. Пишет грошовые фельетоны в какой-то «Гудок» и, как выражается, обворовывает сам себя».

«Собачье сердце» передали для прочтения Л. Б. Каменеву с надеждой, что он сможет поспособствовать его опубликованию. Но Каменев, ознакомившись с повестью, ответил: «Это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя».

Известно, что Булгаков читал повесть перед публикой, и в сводке Секретного отдела ОГПУ даже сохранился донос одного из слушателей такой авторской читки: «Был 7 марта 1925 г. на очередном литературном «субботнике» у Е. Ф. Никитиной (Газетный, 3, кв. 7, т. 2–14–16). Читал Булгаков свою новую повесть. Сюжет: профессор вынимает мозги и семенные железы у только что умершего и вкладывает их в собаку, в результате чего получается «очеловечение» последней».

Дальше в доносе описывается содержание повести, весьма близкое к тексту, автор доноса считает, что «вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к Совстрою тонах» и «такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее бесполезно-безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях «Всероссийского Союза Поэтов»».

Доносчик безошибочно выбрал из повести те места, на которые и современный читатель обращает внимание. А какая память! Цитирует почти дословно, будто текст повести стоит у него перед глазами.

Булгаков был потрясен самим фактом обыска. Мысль о том, что его интимные, не известные даже близким людям записи читаются посторонними, ранила его как человека скрытного. Опасным было и то, что в дневнике он откровенно писал о своих взглядах на текущие события, на положение в стране. С этого момента начался новый этап его отношений с властью.

Булгаков пишет заявление в ОГПУ: «При обыске, произведенном у меня представителями ОГПУ 7 мая 1926 г. (ордер 2287, дело 45), у меня были изъяты с соответствующим занесением в протокол — повесть моя «Собачье сердце» в 2 экземплярах на пишущей машинке и 3 тетради, написанные мною от руки, черновых мемуаров моих под заглавием «Мой дневник». Ввиду того, что «Сердце» и «Дневник» необходимы мне в срочном порядке для дальнейших моих литературных работ, а «Дневник», кроме того, является для меня очень ценным интимным материалом, прошу о возвращении мне их».

Не получив ответа, он обратился с такой же просьбой к Рыкову. Ответа снова не последовало.

Вступая в переписку с соответствующими органами, Булгаков серьезно рисковал: ведь он имел в своей биографии множество «политических минусов» — сомнительное происхождение, службу

у белых, контрреволюционные сочинения и родственников за границей.

В сентябре 1926 года Михаила Афанасьевича доставили на допрос в ГПУ. По поводу своей партийности и политических убеждений он ответил: «Беспартийный. Связавшись слишком крепкими корнями со строящейся Советской Россией, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее. Советский строй считаю исключительно прочным. Вижу массу недостатков в современном быту и, благодаря складу моего ума, отношусь к ним сатирически и так и изображаю их в своих произведениях».

Отвечая на вопросы о событиях своей жизни, Булгаков не скрывал: «На территории белых я находился с августа 1919 г. по февраль 1920 г. Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отступление которых я смотрел с ужасом и недоумением. В момент прихода Красной армии я находился во Владикавказе, будучи болен возвратным тифом. По выздоровлении стал работать с Соввластью, заведывая Лито Наробраза. Ни одной крупной вещи до приезда в Москву нигде не напечатал. По приезде в Москву поступил в Лито Главполитпросвета в качестве секретаря. Одновременно с этим начинал репортаж в московской прессе, в частности, в «Правде». Первое крупное произведение было напечатано в альманахе «Недра» под заглавием «Дьяволиада», печатал постоянно и регулярно фельетоны в газете «Гудок», печатал мелкие рассказы в разных журналах. Затем написал роман «Белая гвардия», затем «Роковые яйца», напечатанные в «Недрах» и в сборнике рассказов. В 1925 г. написал повесть «Собачье сердце», нигде не печатавшееся. Ранее этого периода написал повесть «Записки на манжетах».

«Повесть о собачьем сердце» не напечатана по цензурным соображениям. Считаю, что произведение «Повесть о собачьем сердце» вышло гораздо более злободневным, чем я предполагал, создавая его, и причины запрещения печатания мне понятны…»

В материалах допроса есть текст, написанный рукой самого Булгакова: «На крестьянские темы я писать не могу потому, что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать. Из рабочего быта мне писать трудно, я быт рабочих представляю себе хотя и гораздо лучше, нежели крестьянский, но все-таки знаю его не очень хорошо. Да и интересуюсь я им мало, и вот по какой причине: я занят, я остро интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю ее, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги.

Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции

Советской страны. Но склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги.

Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу! Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я — сатирик)».

Тогда, в 1926 году, от расправы писателя спасла его первая московская и самая известная из всех его пьес — «Дни Турбиных».

Имя Булгакова появилось на театральной афише МХАТа.

История становления Михаила Афанасьевича как драматурга и его театральная жизнь отразились в «Театральном романе». На его страницах Булгаков приоткрывает завесу над таинством, которое приводит к созданию пьесы: «Вьюга разбудила меня однажды. Вьюжный был март и бушевал, хотя и шел уже к концу. И опять, как тогда, я проснулся в слезах! Какая слабость, ах, какая слабость! И опять те же люди, и опять дальний город, и бок рояля, и выстрелы, и еще какой-то поверженный на снегу.

Родились эти люди в снах, вышли из снов и прочнейшим образом обосновались в моей келье. Ясно было, что с ними так не разойтись. Но что же делать с ними?

Первое время я просто беседовал с ними, и все-таки книжку романа мне пришлось извлечь из ящика. Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. Ах, какая это была увлекательная игра, и не раз я жалел, что кошки уже нет на свете и некому показать, как на странице в маленькой комнатке шевелятся люди. Я уверен, что зверь вытянул бы лапу и стал бы скрести страницу. Воображаю, какое любопытство горело бы в кошачьем глазу, как лапа царапала бы буквы!

С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо слышал звуки рояля. Правда, если бы кому-нибудь я сказал бы об этом, надо полагать, мне посоветовали бы обратиться к врачу. Сказали бы, что играют внизу под полом, и даже сказали бы, возможно, что именно играют. Но я не обратил бы внимания на эти слова. Нет, нет! Играют на рояле у меня на столе, здесь происходит тихий перезвон клавишей. Но этого мало. Когда затихает дом, и внизу ровно ни на чем не играют, я слышу, как сквозь вьюгу прорывается и тоскливая и злобная гармоника, а к гармонике присоединяются и сердитые и печальные голоса и ноют, ноют. О нет, это не под полом! Зачем же гаснет комнатка, зачем на страницах наступает зимняя ночь над Днепром, зачем выступают лошадиные морды, а над ними лица людей в папахах. И вижу я острые шашки, и слышу я душу терзающий свист.

Вон бежит, задыхаясь, человечек. Сквозь табачный дым я слежу за ним, я напрягаю зрение и вижу: сверкнуло сзади человека, выстрел, он, охнув, падает навзничь, как будто острым ножом его спереди ударили в сердце. Он неподвижно лежит, и от головы растекается черная лужица. А в высоте луна, а вдали цепочкой грустные, красноватые огоньки в селении.

Всю жизнь можно было бы играть в эту игру, глядеть в страницу. А как бы фиксировать эти фигурки? Так, чтобы они не ушли уже более никуда? И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. Как же ее описать?

А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцвечивается. Она мне нравится? Чрезвычайно. Стало быть, я и пишу: картинка первая. Я вижу вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют «Фауста». Вдруг «Фауст» смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из дверей с гитарой в руке. Слышу — напевает. Пишу — напевает.

Да это, оказывается, прелестная игра! Не надо ходить на вечеринки, ни в театр ходить не нужно.

Ночи три я провозился, играя с первой картинкой, и к концу этой ночи я понял, что сочиняю пьесу».

Так родился театр Булгакова: текст вдруг, неожиданно, приобрел объем и звук, скрытое в нем движение жизни стало явным. Прелестная игра.

В начале апреля 1925 года писатель получил записку от молодого режиссера МХАТа Бориса Ильича Вершилова, в которой говорилось: «Глубокоуважаемый Михаил Афанасьевич! Крайне хотел бы с Вами познакомиться и поговорить о ряде дел, интересующих меня и могущих быть любопытными и Вам». В мае

1925 года Вершилов вновь напомнил о себе: «Как обстоят дела с пьесой, с «Белой гвардией»? Я до сих пор нахожусь под обаянием Вашего романа. Жажду работать Ваши вещи. По моим расчетам, первый акт «нашей» пьесы уже закончен».

Так сложилось, что именно Вершилов, который в дальнейшем никакого отношения к постановке пьесы не имел, первым поспособствовал приглашению Булгакова во МХАТ.

Заведующий литературной частью театра П. Марков вспоминал: «МХАТ узнал Булгакова в 1925 году. Уже первая встреча с ним оставила впечатление необыкновенное — острого, оригинального и в тоже время предельно глубокого человека. Его роман «Белая гвардия» появился в одном из толстых журналов, и театр задумался над возможностью сделать из романа пьесу. Булгаков охотно принял предложение театра.»

Требования театра к пьесе были иными, чем у писателя. Ему пришлось создавать все заново. В «Театральном романе» отражен тот период, когда текст упорно не желал превращаться в тот мир, который соответствовал театру: «Я не помню, чем кончился май. Стерся в памяти и июнь, но помню июль. Настала необыкновенная жара. Я сидел голый, завернувшись в простыню, и сочинял пьесу. Чем дальше, тем труднее она становилась. Коробочка моя давно уже не звучала, роман потух и лежал мертвый, как будто и нелюбимый. Цветные фигурки не шевелились на столе, никто не приходил на помощь. Перед глазами теперь вставала коробка Учебной сцены. Герои разрослись и вошли в нее складно и очень бодро, но, по-видимому, им так понравилось на ней рядом с золотым конем, что уходить они никуда не собирались, и события развивались, а конца им не виделось. Потом жара упала, стеклянный кувшин, из которого я пил кипяченую воду, опустел, на дне плавала муха. Пошел дождь, настал август. Тут я получил письмо от Миши Панина. Он спрашивал о пьесе».

В первой редакции пьеса называлась, как и роман, «Белая гвардия», и в ней действовали Турбины, Малышев, Най-Турс, Василиса с Вандой, петлюровцы, киевские обыватели.

Работа шла непросто: «В пьесе моей было тринадцать картин. Сидя у себя в комнатушке, я держал перед собою старенькие серебряные часы и вслух сам себе читал пьесу, очевидно, очень изумляя соседа за стенкой. По прочтении каждой картины я отмечал на бумажке. Когда дочитал, вышло, что чтение занимает три часа. Тут я сообразил, что во время спектакля бывают антракты, во время которых публика уходит в буфет. Прибавив время на антракты, я понял, что пьесу мою в один вечер сыграть нельзя. Ночные мучения, связанные с этим вопросом, привели к

тому, что я вычеркнул одну картину. Это сократило спектакль на двадцать минут, но положения не спасло. Я вспомнил, что помимо антрактов бывают и паузы. Так, например, стоит актриса и, плача, поправляет в вазе букет. Говорить она ничего не говорит, а время-то уходит. Стало быть, бормотать текст у себя дома — одно, а произносить его со сцены — совершенно иное дело.

Надо было еще что-то выбрасывать из пьесы, а что — неизвестно. Все мне казалось важным, а кроме того, стоило наметить что-нибудь к изгнанию, как все с трудом построенное здание начинало сыпаться, и мне снилось, что падают карнизы и обваливаются балконы, и были эти сны вещие.

Тогда я изгнал одно действующее лицо вон, отчего одна картина как-то скособочилась, потом совсем вылетела, и стало одиннадцать картин.

Дальше, как я ни ломал голову, как ни курил, ничего сократить не мог. У меня каждый день болел левый висок. Поняв, что дальше ничего не выйдет, решил дело предоставить его естественному течению».

Премьера «Дней Турбиных» состоялась 5 октября 1926 года. Постановка пьесы стала совместной победой театра и драматурга.

По воспоминаниям тех, кто бывал на первых спектаклях, атмосфера в зале была невероятной, исключительной, «все были словно околдованными». Прямо во время представления случались обмороки. Совсем недавно закончившаяся гражданская война коснулась каждого. У многих сидящих в зале были мужья-офицеры, братья и отцы, погибшие, пропавшие без вести, уехавшие и навсегда расставшиеся с близкими.

Зрители буквально жили вместе с героями пьесы. Однажды в сцене, когда Елена с Лариосиком оставались одни и на стук в дверь Лариосик говорил: «Постойте, постойте, не открывайте, надо спросить, кто там», из зала раздался женский голос: «Не бойтесь, открывайте, это свои!» — преград между актерами и залом не существовало.

Зал не дыша слушал пронзительный монолог Алексея Турбина, обращенный к обманутым юнкерам: «Они вас заставят драться с собственным народом. А когда он вам расколет головы, они убегут за границу. Я знаю, что в Ростове то же самое, что и в Киеве. Там дивизионы без снарядов, там юнкера без сапог, а офицеры сидят в кофейнях. Слушайте меня, друзья мои! Мне, боевому офицеру, поручили вас толкнуть в драку. Было бы за что! Но не за что. Я публично заявляю, что я вас не поведу и не пущу! Я вам говорю: белому движению на Украине конец. Ему конец в Ростове-на-Дону, всюду! Народ не с нами. Он против нас. Значит,

кончено! Гроб! Крышка! И вот я, кадровый офицер Алексей Турбин, вынесший войну с германцами, чему свидетелями капитаны Студзинский и Мышлаевский, я на свою совесть и ответственность принимаю все, все принимаю, предупреждаю и, любя вас, посылаю домой!» А когда Николка в ответ на яростное требование Мышлаевского: «Николка, говори. Мы его найдем. Найдем. Говори начистоту.» отвечал тихо: «Убили командира…» — зрители не сдерживали слез.

В то же время пьеса «Дни Турбиных» была пронизана тем мягким жизненным юмором, который спасает людей и в самые тяжелые времена. Трудно удержаться от улыбки в чудной сцене, когда Лариосик разбивает с таким трудом добытую им же бутылку водки.

«Лариосик. Но тем не менее я водочки достал! Единственный раз в жизни мне повезло! Думал, ни за что не достану. Такой уж я человек! Погода была великолепная, когда я выходил. Небо ясно, звезды блещут, пушки не стреляют. Все обстоит в природе благополучно. Но стоит мне показаться на улице — обязательно пойдет снег. И действительно, вышел — и мокрый снег лепит в самое лицо. Но бутылочку достал!.. Пусть знает Мышлаевский, на что я способен. Два раза упал, затылком трахнулся, но бутылку держал в руках.

Голос Шервинского. «Ты любовь благословляешь…»

Николка. Смотри, видишь?.. Потрясающая новость! Елена расходится с мужем. Она за Шервинского выйдет.

Лариосик (роняет бутылку). Уже?

Николка. Э, Лариосик, э-э!.. Что ты, Ларион, что ты?.. А-а… понимаю! Тоже врезался?

Лариосик. Никол, когда речь идет о Елене Васильевне, такие слова, как «врезался», неуместны. Понял? Она золотая!

Николка. Рыжая она, Ларион, рыжая. Прямо несчастье. Оттого всем и нравится, что рыжая. Как кто увидит, сейчас букеты начинает таскать. Так что у нас все время в квартире букеты, как веники, стояли. А Тальберг злился. Ну, ты осколки собирай, а то сейчас Мышлаевский явится, он тебя убьет.

Лариосик. Ты ему не говори. (Собирает осколки.)

Звонок. Лариосик впускает Мышлаевского и Студзинского. Оба в штатском.

Мышлаевский. Красные разбили Петлюру! Войска Петлюры город оставляют!

Студзинский. Да-да! Красные уже в Слободке. Через полчаса будут здесь.

Мышлаевский. Завтра, таким образом, здесь получится советская республика. Позвольте, водкой пахнет! Кто пил водку

раньше времени? Сознавайтесь. Что ж это делается в этом богоспасаемом доме?!. Вы водкой полы моете?!. Я знаю, чья это работа! Что ты все бьешь?! Что ты все бьешь! Это в полном смысле слова золотые руки! К чему ни притронется — бац, осколки! Ну если уж у тебя такой зуд — бей сервизы!»

Как прекрасен в своем гневе Мышлаевский: «Что ж это делается в этом богоспасаемом доме?!. Вы водкой полы моете?!..», как разделяют его негодование буквально все мужчины, сидящие в зале!

К финалу пьесы зрители просто подхватывали текст — реплику Мышлаевского могли подать из зала: «Ларион! Скажи нам речь!»

И Лариосик отвечал: «Что ж, если обществу угодно, я скажу. Только прошу извинить: ведь я не готовился…»

Зрители долго не отпускали актеров, продолжая аплодировать этому чуду единства душ, чуду понимания.

В октябре «Дни Турбиных» прошли 13 раз, в ноябре и декабре — по 14 раз в месяц. А 28 октября 1926 года в Театре им. Вахтангова состоялась премьера другой пьесы Булгакова — «Зойкина квартира».

Новый, 1927 год приносит Булгакову невероятную литературную и театральную известность. Он — автор двух пьес, с аншлагами идущих на сценах знаменитых московских театров. Им восторгаются, ему завидуют.

Но судьба Михаила Афанасьевича теперь определялась не литературными критиками, а первым лицом страны. Все запреты, касающиеся литературы и театра, проходили через политбюро.

Булгакова запретят печатать в конце 1927 года, а все пьесы будут сняты с репертуара в марте 1929-го, в том числе и самый посещаемый Сталиным мхатовский спектакль «Дни Турбиных». Сталин смотрел этот спектакль пятнадцать раз! Он говорил Максиму Горькому: «…Вот Булгаков… здорово берет! Против шерсти берет! Это мне нравится!» Похоже, Сталин чувствовал, что Булгаков на голову выше всех литераторов, пишущих для театра, и даже пытался защищать писателя от активных нападок критиков. Об этом говорят стенограммы дискуссий с участием Сталина.

«Сталин: «А я вам скажу, я с точки зрения зрителя скажу. Возьмите «Дни Турбиных». Общий осадок впечатления у зрителя остается какой (несмотря на отрицательные стороны, в чем они состоят, тоже скажу), общий осадок впечатления остается какой, когда зритель уходит из театра? Это впечатление несокрушимой силы большевиков. Даже такие люди, крепкие, стойкие, по-своему честные, в кавычках, должны признать, в конце концов, что

ничего с этими большевиками не поделаешь.

Я думаю, что автор, конечно, этого не хотел, в этом он неповинен, дело не в этом, конечно. «Дни Турбиных» — это величайшая демонстрация в пользу всесокрушающей силы большевизма. Рабочие ходят смотреть эту пьесу и видят: ага, а большевиков никакая сила не может взять! Вот вам общий осадок впечатлений от этой пьесы, которую никак нельзя назвать советской. Там есть отрицательные черты, в этой пьесе. Эти Турбины, по-своему честные люди, даны как отдельные, оторванные от своей среды индивиды. Но Булгаков не хочет обрисовать того, что хотя они, может быть, честные по-своему люди, но сидят на чужой шее, за что их и гонят.

У того же Булгакова есть пьеса «Бег». В этой пьесе дан тип одной женщины — Серафимы и выведен один приват-доцент. Обрисованы эти люди честными и прочее, и никак нельзя понять, за что же их, собственно, гонят большевики, ведь и Серафима, и этот приват-доцент — оба они беженцы, по-своему честные, неподкупные люди, но Булгаков, на то он и Булгаков, не изобразил того, что эти по-своему честные, неподкупные люди сидят на чужой шее. Их вышибают из страны потому, что народ не хочет, чтобы такие люди сидели у него на шее. Вот подоплека того, почему таких по-своему честных людей из нашей страны вышибают. Булгаков умышленно или неумышленно этого не изображает.

Но даже у таких людей можно взять кое-что полезное. Я говорю в данном случае о пьесе «Дни Турбинных»».

Итак, Сталин отметил, что «…пьеса не так плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда», что «Дни Турбиных» есть «демонстрация всесокрушающей силы большевизма, если даже такие, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа».

Но участвующие в дискуссии противники Булгакова настаивали на том, что пьесу надо снять. На что Сталин отвечал: «Насчет «Дней Турбиных» — я ведь сказал, что это антисоветская штука, и Булгаков не наш… Но что же, несмотря на то, что это штука антисоветская, из этой штуки можно вынести? Это всесокрушающая сила коммунизма. Там изображены русские люди — Турбины и остатки из их группы, все они присоединяются к Красной армии как к русской армии. Это тоже верно. (Голос с места: «С надеждой на перерождение».) Может быть, но вы должны признать, что и Турбин сам, и остатки его группы говорят: «Народ против нас, руководители наши продались. Ничего не остается, как покориться». Нет другой силы. Это тоже нужно признать. Я против того, чтобы огульно отрицать

все в «Днях Турбиных», чтобы говорить об этой пьесе как о пьесе, дающей только отрицательные результаты. Я считаю, что она в основном все же плюсов дает больше, чем минусов. Вот что пишет товарищ Петренко: «Дни Турбиных». (цитата в стенограмме не приведена). Вы чего хотите, собственно?»

Петренко отвечает: «Мы хотим, чтобы наше проникновение в Москву имело бы своим результатом снятие этой пьесы». А голос с места добавляет: «Это единодушное мнение».

Какая необычная ситуация, — со Сталиным фактически не соглашаются и требуют (!) от него принятия более кардинальных мер по отношению к пьесе Булгакова, чем те, которые он сам предполагает.

Сталин понимал, что пьеса «Дни Турбиных» — это истинное искусство, в отличие от других пьес, написанных на потребу и к искусству отношения не имеющих. «Почему такие пьесы («Дни Турбиных») ставятся? Потому что своих настоящих пьес мало или вовсе нет», — заключает он. Нет пьес, полностью удовлетворяющих Сталина, потому что он хочет, чтобы они имели отношение к искусству, но и одновременно служили достижению поставленной им политической цели. А это даже теоретически невозможно!

Вероятно, лично он не хотел, чтобы спектакль «Дни Турбиных» закрыли, но его решения никогда не опирались на собственные чувства или эмоции. Сталин всегда делал точные политические выводы, исключавшие хотя бы что-либо личное. В данном случае он взвесил все «за» и «против», и «против» оказалось больше. Возможно, именно на тот голос из зала, который заверял, что «Дни Турбиных» надо снять, и это «единодушное мнение».

Исследователи творчества Булгакова в его архиве обнаружили несколько списков гонителей писателя, составленных им самим. Один из списков назван «Список врагов М. Булгакова по «Турбиным»». В нем 30 фамилий. Более полный перечень (не только по «Турбиным») включает 57 фамилий. На его полях рукой Е. С. Булгаковой написано: «Авторы ругательных статей о Мише». Третий список (без заголовка) насчитывает 45 фамилий. Так что вождь принимал решения не в одиночку.

Несмотря на то что «Дни Турбиных» выдержали тысячу постановок на МХАТовской сцене при неизменном аншлаге, критика с самого начала громила «белогвардейский» спектакль.

28 марта 1930 года Булгаков пишет письмо Правительству СССР. Это удивительный документ своей эпохи, в котором отразилось и время, и характер Булгакова. В нем говорится: «После того, как все мои произведения были запрещены, среди

многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет. Сочинить «коммунистическую пьесу» (в кавычках я привожу цитаты), а кроме того, обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать, как преданный идее коммунизма писатель-попутчик. Цель: спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале.

Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед Правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет.

Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляет меня обратиться к Правительству СССР с письмом правдивым.

Произведя анализ моих альбомов вырезок, я обнаружил в прессе СССР за десять лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных было 3, враждебно-ругательных — 298.

Мыслим ли я в СССР?

Ныне я уничтожен. Уничтожение это было встречено советской общественностью с полной радостью и названо «достижением».

Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие, и все будущие. И лично я, своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр».

Все мои вещи безнадежны.

Я ПРОШУ ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ПРИКАЗАТЬ МНЕ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПОКИНУТЬ ПРЕДЕЛЫ СССР В СОПРОВОЖДЕНИИ МОЕЙ ЖЕНЫ ЛЮБОВИ ЕВГЕНЬЕВНЫ БУЛГАКОВОЙ.

Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу.

Если же и то, что я написал, неубедительно, и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу Советское Правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера.

Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную

должность статиста. Если и статистом нельзя — я прошусь на должность рабочего сцены. Если же и это невозможно, я прошу Советское Правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня, драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо, в данный момент, — нищета, улица и гибель».

После этого письма в доме Булгакова раздался звонок, ставший настоящей легендой.

Любовь Евгеньевна навсегда запомнила тот день, когда Булгакову позвонил Сталин: «Однажды, совершенно неожиданно, раздался телефонный звонок. Звонил из Центрального комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала Михаила Афанасьевича, а сама занялась домашними делами. Михаил Афанасьевич взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул «Любаша!», что я опрометью бросилась к телефону (у нас были отводные от аппарата наушники).

На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом и себя называл в третьем лице. «Сталин получил, Сталин прочел…». Он предложил Булгакову: «Может быть, вы хотите уехать за границу?» (Незадолго перед этим по просьбе Горького был выпущен за границу писатель Евгений Замятин с женой). Но Михаил Афанасьевич предпочел остаться в Союзе».

Сохранилось несколько воспоминаний современников о содержании телефонного разговора Сталина с Булгаковым. Вот как он выглядит в записи из дневника Елены Булгаковой:

«— Михаил Афанасьевич Булгаков?

— Да, да.

— Сейчас с Вами товарищ Сталин будет говорить.

— Что? Сталин? Сталин?

И тут же услышал голос с явным грузинским акцентом.

— Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков.

— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.

— Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда — вас отпустить за границу? Что — мы вам очень надоели?

Михаил Афанасьевич сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса (да он и звонка вообще не ожидал) — что растерялся и не сразу ответил:

— Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.

— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

— Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.

— А вы подайте заявление туда. Мне, кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами.

— Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить.

— Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего».

Из оперативных источников Сталин знал о внутренней готовности Булгакова работать с новой властью. Опубликованы документы, свидетельствующие об этом. Так, начальник Главискусства Свидерский писал секретарю ЦК ВКП(б) Смирнову 30.07.1929 г.: «Я имел продолжительную беседу с Булгаковым. Он производит впечатление человека затравленного и обреченного. Я даже не уверен, что он нервно здоров. Положение его действительно безысходное. Он, судя по общему впечатлению, хочет работать с нами, но ему не дают и не помогают в этом.»

Смирнов в свою очередь написал Молотову: «…Считаю, что в отношении Булгакова наша пресса заняла неправильную позицию. Вместо линии на привлечение его и исправление — практиковалась только травля, а перетянуть его на нашу сторону, судя по письму т. Свидерского, можно… (нужно дать) АППО ЦК указания о необходимости поработать над привлечением его на нашу сторону… а литератор он талантливый и стоит того, чтобы с ним повозиться. Нельзя пройти мимо неправильных действий ОГПУ по части отобрания у Булгакова его дневников. Надо предложить ОГПУ дневники вернуть».

На Булгакова звонок Сталина произвел необыкновенное впечатление. Елена Булгакова вспоминает: «18 апреля часов в 6–7 вечера он (Булгаков) прибежал, взволнованный, в нашу с Шиловским квартиру и рассказал о телефонном звонке Сталина. В письме Сталину от 30 мая 1931 года Михаил Афанасьевич пишет: «Ваш разговор по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти».

Булгаков понимал: дело идет к тому, что Сталин становится единоличным правителем страны. Но он надеялся на мудрость этого правителя. Об этом говорят тексты, отправленные Булгаковым Сталину.

Вот письмо от 5 мая 1930 года, написанное приблизительно через две недели после телефонного разговора: «Многоуважаемый Иосиф Виссарионович! Я не позволил бы себе беспокоить Вас письмом, если бы меня не заставляла сделать это бедность. Я прошу Вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая. Средств к спасению у меня не имеется. Уважающий Вас Михаил Булгаков».

Он обращается лично к вождю и по личному делу! Мало того, не по почте, а через секретаря Сталина Товстуху, которому пишет: «…Убедительно прошу… это письмо передать И. В. Сталину. Не откажите уведомить меня о получении Вами этого письма. 5.05.30».

Письменного ответа не последовало, но через несколько дней Булгаков был зачислен в штат МХАТа. Сталин выполнил обещание, связанное с работой, однако не собирался одаривать писателя личной встречей.

Следующее письмо Булгакова, которое он собирался написать в начале 1931 года, так и не было отправлено. Сохранился лишь его набросок — всего несколько строк: «Многоуважаемый Иосиф Виссарионович! Около полутора лет прошло с тех пор, как я замолк. Теперь, когда я чувствую себя очень тяжело больным, мне хочется просить Вас стать моим первым читателем…»

Булгаков хотел, чтобы Главный цензор страны разрешил ему работать, пусть и под своим руководством. Он был согласен платить за возможность творчества и такую цену.

Следующее письмо от 30 мая 1931 года написано полностью. Оно было необычным и по форме, и по содержанию. В начале письма — большая цитата из Гоголя о значении для писателя поездок «в чужие края»: «…Мне всегда казалось, что… для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от нее… я как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее».

Фактически Булгаков просит о заграничном отпуске. Но рядом с просьбой в письме есть и такие строки: «На широком поле российской словесности в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя. Со мной и поступили как с волком. Несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе. Злобы я не имею, но я очень устал и в конце 1929 года свалился. Ведь и зверь может устать. Зверь заявил, что он более не волк, не литератор. Отказывается от своей профессии. Умолкает. Это, скажем прямо, малодушие. Нет такого писателя, чтобы он замолчал. Если замолчал, значит, был не настоящий.»

Булгаков описывает, какую работу он проделал как режиссер и сценарист за последний год, и вновь обращается с просьбой о заграничном отпуске, объясняет его необходимость: «…Внушили мне, что с того самого момента, как я написал и выпустил первую строчку, и до конца моей жизни я никогда не увижу других стран. Мне закрыт горизонт, у меня отнята высшая писательская школа… привита психология заключенного. Как вспою мою

страну? Я взвесил всё. Мне нужно видеть свет и, увидев его, вернуться.

По общему мнению всех, кто серьезно заинтересовался моей работой, я не возможен ни на какой другой земле, кроме своей. Не знаю, нужен ли я советскому театру, но мне советский театр нужен как воздух. Заканчивая письмо, хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам».

На письмо Булгакова не было ответа. Его и не могло быть. Письмо ТАК написано, что ответ может быть только один — молчание.

Жена Булгакова Любовь Евгеньевна вспоминала, как «постепенно распухал альбом вырезок с разносными отзывами и как постепенно истощалось стоическое к ним отношение со стороны Михаила Афанасьевича, а попутно истощалась и нервная система писателя: он стал раздражительней, подозрительней, стал плохо спать. В таком состоянии в марте 1930 года Булгаков уничтожил первую редакцию будущего романа «Мастер и Маргарита».

Но рубеж 1929 года и начала 1930-х годов был насыщен для Булгакова драматическими событиями не только творческого характера. Назревали новые серьезные перемены в его личной жизни. Л. Е. Белозерская так пишет об этом в своих мемуарах: «По мере того, как росла популярность Михаила Афанасьевича как писателя, возрастало внимание к нему со стороны женщин, многие из которых… проявляли уж чересчур большую настойчивость…»

28 февраля 1929 года, как вспоминала Любовь Евгеньевна, у Михаила Афанасьевича произошло знакомство с будущей третьей женой: «…Мы поехали как-то в гости к его старым знакомым, мужу и жене Моисеенко (жили они в доме Нирензее в Гнездниковском переулке). За столом сидела хорошо причесанная дама — Елена Сергеевна Нюренберг, по мужу Шиловская. Она вскоре стала моей приятельницей и начала запросто и часто бывать у нас в доме».

Любовь Евгеньевна не любила говорить о своем разрыве с Булгаковым и его третьей женитьбе. Мемуары «О, мед воспоминаний» она заканчивает так: «Не буду рассказывать о тяжелом для нас обоих времени расставания. В знак этого события ставлю черный крест, как написано в заключительных строках пьесы «Мольер»».

Не способствовали укреплению семьи Булгакова и Белозерской и занятия, которыми неожиданно увлеклась Любовь Евгеньевна. Она поступила в автошколу и стала рьяной

поклонницей лошадей, занималась в манеже на Поварской улице. Дом порой заполняли мужчины в промасленных куртках, жокеи с ипподрома, шло живое обсуждение скачек. Словом, Любовь Евгеньевна жила своей счастливой и интересной жизнью!

Елена Сергеевна Шиловская, бывавшая в этот период в доме Булгакова, впоследствии вспоминала: «Однажды он сказал ей: — Люба, так невозможно, ведь я работаю! — И она ответила беспечно: — Ничего, ты не Достоевский! — Быть может, это был самый тяжелый камень, брошенный в него. Он побледнел, когда рассказывал об этом. Он никогда не мог простить этого Любе…»

С Шиловской все было иначе. Елена Сергеевна так описала первую встречу с Булгаковым: «Сидели мы рядом, у меня развязались какие-то завязочки на рукаве… я сказала, чтобы он завязал. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство, тут-то я его и привязала на всю жизнь».

Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич верили в судьбу, они были убеждены, что их встреча была предопределена. Шиловская стала для Булгакова единственной любимой женщиной, понимавшей его, верившей в его талант, остававшейся с ним до последних его дней.

Известно, что Булгаков старался сделать все возможное, чтобы разрыв отношений с Любовью Евгеньевной не отразился на ней слишком болезненно. Он помогал ей материально, часто навещал. Новая жена писателя, Елена Сергеевна, также стремилась сохранить с ней дружеские отношения.

Племянник Любови Евгеньевны И. В. Белозерский вспоминал, что она, как всякая оставленная женщина, была оскорблена, и это чувство сохранила надолго. Булгаков оставил свою рукопись «Мольер» с посвящением уже бывшей жене, и этот поступок еще раз подтверждает, что он хотел сохранить с ней по возможности дружественные отношения.

Жизнь с писателем многому научила Любовь Евгеньевну. Фактически она была его секретарем: писала под его диктовку деловые письма, записывала произведения, помогала готовить к печати фельетоны (один из них даже имеет подпись «Любовь Булгакова»), переводила материалы к «Мольеру», инсценировке «Война и мир».

Знание европейских языков и большая культура позволили ей работать во многих московских газетах и издательствах — «Техническая энциклопедия», «Академия», «Гослитиздат». Она готовила к печати книги разных авторов, выходящие в серии ЖЗЛ: «Наполеон», «Адмирал Нахимов», «Кромвель», «Коперник», «Байрон», «Талейран», была научным редактором в издательстве «Большая Советская Энциклопедия», редактором в «Литературной

газете», сотрудничала с журналом «Огонек».

В 1928–1930 годы Белозерская была корректором-редактором собрания сочинений В. В. Вересаева, а с 1936 года — литературным секретарем историка-академика Е. В. Тарле.

Любовь Евгеньевна прожила долгую и плодотворную жизнь. Она умерла 27 января 1987 года в Москве и похоронена на Ваганьковском кладбище рядом со своими родственниками.

Как полагают некоторые исследователи творчества Булгакова, именно Белозерская подсказала писателю идею ввести в будущий роман «Мастер и Маргарита» образ главной героини, чтобы несколько сократить перевес мужских персонажей в этом произведении, и была одним из возможных прототипов Маргариты в ранних редакциях этого романа.

Но с октября 1932 года главной в судьбе Булгакова становится другая женщина. Он называл ее королевой. Только двух женщин в своей жизни Михаил Афанасьевич называл так: свою мать и позже — третью жену, Елену Сергеевну Булгакову.

Она родилась 21 октября (2 ноября) 1893 года в Риге, ее отец — Сергей Маркович Нюренберг, был сначала учителем, а позднее — податным инспектором, одновременно сотрудничая в рижских газетах.

Род Нюренбергов в России ведет свое происхождение от немца-ювелира Нюренберга, приехавшего в Житомир в 1768 году в числе немецких переселенцев, приглашенных Екатериной II. В XIX веке многие представители этого рода переселились в Прибалтику и в значительной мере обрусели.

В 1911 году Елена Сергеевна окончила гимназию в Риге, а в 1915 году вместе с родителями переехала в Москву. Она писала в своей автобиографии: «Я научилась печатать на машинке и стала помогать отцу в его домашней канцелярии, стала печатать его труды по налоговым вопросам».

В декабре 1918 г. Елена Сергеевна обвенчалась в Москве с Юрием Мамонтовичем Нееловым, адъютантом командующего 16-й армией Евгения Александровича Шиловского. А уже в конце 1920 года командующий отбил жену у адъютанта. Новый муж Елены Сергеевны был молод, красив, интеллигентен, по происхождению принадлежал к русскому дворянству, что не помешало ему продвигаться по службе в Красной армии. Он имел звание, примерно равное генеральскому. (Позже, когда в СССР были введены новые звания, Шиловский сразу же стал генерал-лейтенантом.)

Жили Шиловские в прекрасной квартире в тихом Ржевском переулке в центре Москвы, близ Арбата. В 1921 году у них родился сын Евгений, а в 1926 году — Сергей.

Спокойная и обеспеченная жизнь могла бы радовать любую обычную женщину, но Елена Сергеевна обычной женщиной не была. В октябре 1923 года она писала своей сестре Ольге: «Ты знаешь, как я люблю Женей моих, что для меня значит мой малыш, но все-таки я чувствую, что такая тихая, семейная жизнь не совсем по мне. Или вернее так, иногда на меня находит такое настроение, что я не знаю, что со мной делается. Ничего меня дома не интересует, мне хочется жизни, я не знаю, куда мне бежать, но хочется очень. При этом ты не думай, что это является следствием каких-нибудь неладов дома. Нет, у нас их не было за все время нашей жизни. Просто, я думаю, во мне просыпается мое прежнее «я» с любовью к жизни, к шуму, к людям, к встречам и т. д. и т. д. Больше всего на свете я хотела бы, чтобы моя личная жизнь — малыш, Женя большой — все осталось так же при мне, а у меня кроме того было бы еще что-нибудь в жизни, вот так, как у тебя театр».

Знакомство с Булгаковым изменило жизнь Елены Сергеевны.

В 1967 году она так вспоминала об этом знакомстве: «Я была просто женой генерал-лейтенанта Шиловского, прекрасного, благороднейшего человека. Это была, что называется, счастливая семья: муж, занимающий высокое положение, двое прекрасных сыновей. Вообще все было хорошо. Но когда я встретила Булгакова случайно в одном доме, я поняла, что это моя судьба, несмотря на все, несмотря на безумно трудную трагедию разрыва. Я пошла на все это, потому что без Булгакова для меня не было ни смысла жизни, ни оправдания ее. Это было в 29-м году в феврале, на Масляную. Какие-то знакомые устроили блины. Ни я не хотела идти туда, ни Булгаков, который почему-то решил, что в этот дом он не будет ходить. Но получилось так, что эти люди сумели заинтересовать составом приглашенных и его, и меня. Ну, меня, конечно, его фамилия. В общем, мы встретились и были рядом. Это была быстрая, необычайно быстрая, во всяком случае, с моей стороны, любовь на всю жизнь.

Потом наступили гораздо более трудные времена, когда мне было очень трудно уйти из дома именно из-за того, что муж был очень хорошим человеком, из-за того, что у нас была такая дружная семья. В первый раз я смалодушествовала и осталась, и я не видела Булгакова двадцать месяцев, давши слово, что не приму ни одного письма, не подойду ни разу к телефону, не выйду одна на улицу. Но, очевидно, все-таки это была судьба. Потому что когда я первый раз вышла на улицу, то встретила его, и первой фразой, которую он сказал, было: «Я не могу без тебя жить». И я ответила: «И я тоже». И мы решили соединиться, несмотря ни на что. Но тогда же он мне сказал то, что я, не знаю

почему, приняла со смехом.

Он мне сказал: «Дай мне слово, что умирать я буду у тебя на руках». И я, смеясь, сказала: «Конечно, конечно, ты будешь умирать у меня на…» Он сказал: «Я говорю очень серьезно, поклянись». И в результате я поклялась».

Их совместная жизнь сложилась не сразу. Сначала Елена Сергеевна часто бывала в доме Булгаковых, подружилась с женой Михаила Афанасьевича Любовью Евгеньевной. В марте 1930 года она, несмотря на противодействие Шиловского, помогала Булгакову печатать и разносить по адресам знаменитое письмо Правительству СССР.

В конце 1930 или в начале 1931 года муж Елены Сергеевны узнал о ее любовной связи с Булгаковым. Сохранился отрывок письма Булгакова к Шиловскому: «Дорогой Евгений Александрович, я виделся с Еленой Сергеевной по ее вызову, и мы объяснились с нею. Мы любим друг друга так же, как любили раньше. И мы хотим пожениться».

3 сентября 1932 года Е. А. Шиловский написал родителям Елены Сергеевны в Ригу: «Дорогие Александра Александровна и Сергей Маркович! Когда Вы получите это письмо, мы с Еленой Сергеевной уже не будем мужем и женой. Мне хочется, чтобы Вы правильно поняли то, что произошло. Я ни в чем не обвиняю Елену Сергеевну и считаю, что она поступила правильно и честно. Наш брак, столь счастливый в прошлом, пришел к своему естественному концу… Мы хорошо прожили целый ряд лет и были очень счастливы. Я бесконечно благодарен Люсе за то огромное счастье и радость жизни, которые она мне дала в свое время. Я сохраняю самые лучшие и светлые чувства к ней и к нашему общему прошлому. Мы расстаемся друзьями».

Детей Шиловские поделили: старший — Женя — остался с отцом, младший — Сережа — с матерью.

С 1 сентября 1933 года Елена Сергеевна стала вести дневник, который стал одним из наиболее важных источников биографии Булгакова. Этот дневник свидетельствует о том, что в совместной жизни Елены Сергеевны и Булгакова не было ни одной ссоры. Удивительно, если учесть, как непросто складывалась дальнейшая жизнь писателя.

В Елене Сергеевне Михаил Афанасьевич обрел не только настоящего друга и возлюбленную, но и талантливого литературного секретаря, биографа, преданного и неутомимого сотрудника. Она всегда была в курсе его творческих планов.

В своих воспоминаниях известный сценарист С. А. Ермолинский писал, что у Булгакова появился дом, и дом этот дышал и жил его тревогами и его надеждами. В этом доме,

где он ежедневно, ежечасно чувствовал, что он не неудачник, а писатель, делающий важное дело, талантливый писатель, не имеющий права сомневаться в своем назначении и в своем прочном, не зависящем ни от кого, ни от одного власть имущего человека, месте на земле — в своей стране, в своей литературе.

Дом их, словно назло всем враждебным стихиям, сиял счастьем и довольством! А ведь были, пожалуй, одни лишь долги при самом туманном будущем. Хозяйка была энергична и безудержно легкомысленна. И жизнь перестала быть страшной. Ведь счастье начинается с повседневности. «Славьте очаг», — повторялось у Булгакова во многих письмах, и не только в то время.

Писатель продолжает работу над романом «Мастер и Маргарита» и пьесой о Мольере. В октябре 1931 года он заключил договор о постановке этой пьесы с Ленинградским БДТ и с МХАТом.

В Ленинграде постановка «Мольера» была сорвана рядом резких критических статей в местной прессе, а в МХАТе репетиции затянулись на пять лет. Спектакль был показан в марте 1935 года К. С. Станиславскому, но ему постановка не понравилась, особенно много претензий было у него к булгаковскому тексту. Однако автор категорически отказался вносить в пьесу изменения. Позже Булгаков в одном из писем писал: «Мною многие командуют. Теперь накомандовал Станиславский. Прогнали для него Мольера (без последней картины (не готова)), и он, вместо того чтобы разбирать постановку и игру, начал разбирать пьесу.

В присутствии актеров (на пятом году!) он стал мне рассказывать о том, что Мольер гений и как этого гения надо описывать в пьесе. Актеры хищно обрадовались и стали просить увеличивать им роли.

Мною овладела ярость. Опьянило желание бросить тетрадь, сказать всем: пишите вы сами про гениев и про негениев, а меня не учите, я все равно не сумею».

Поскольку Станиславский отказался от репетиций, то за постановку взялся его сподвижник Вл. П. Немирович-Данченко. Он высоко отзывался о таланте Булгакова: «…хочется сказать несколько слов об авторе. Мне хочется подчеркнуть то, что я говорил много раз, что Булгаков едва ли не самый яркий представитель драматургической техники. Его талант вести интригу, держать зал в напряжении в течение всего спектакля, рисовать образы в движении и вести публику к определенной заостренной идее — совершенно исключителен, и мне сильно кажется, что нападки на него вызываются недоразумениями».

16 февраля 1936 года состоялась столь долгожданная премьера «Мольера». Публике спектакль понравился, а Булгакову — не очень. Пышные декорации, костюмы и игра актеров делали из «Мольера» типичную «историческую пьесу». Михаил Афанасьевич говорил в одном из интервью: «Меня привлекла личность учителя многих поколений драматургов, — комедианта на сцене, неудачника, меланхолика и трагичного человека в личной жизни. Я писал романтическую драму, а не историческую хронику. В романтической драме невозможна и не нужна полная биографическая точность…»

Не понравился спектакль и председателю Комитета по делам искусств при СНК СССР П. М. Керженцеву, но по другим причинам. В записке «О «Мольере» М. Булгакова (в филиале МХАТа)», которую Керженцев представил в политбюро, говорится: «М. Булгаков писал эту пьесу в 1929–1931 гг. т. е. в период, когда целый ряд его пьес был снят с репертуара или не допущен к постановке… он хотел в своей новой пьесе показать судьбу писателя, идеология которого идет вразрез с политическим строем, пьесы которого запрещают. Несмотря на всю затушеванность намеков, политический смысл, который Булгаков вкладывает в свое произведение, достаточно ясен, хотя, может быть, большинство зрителей этих намеков не заметит. Он хочет вызвать у зрителя аналогию между положением писателя при диктатуре пролетариата и при «бессудной тирании» Людовика XIV».

Спектакль был обречен. В газете «Правда» появилась редакционная статья «Внешний блеск и фальшивое содержание». В ней «Мольер» был назван «реакционной» и «фальшивой» пьесой. Булгакова обвиняли в «извращении» и «опошлении» жизни французского комедиографа, а МХАТу вменялось в вину «прикрытие недостатков пьесы блеском дорогой парчи, бархата и всякими побрякушками». Руководители театра сами отказались от продолжения представлений. Пьеса успела пройти только семь раз.

Только семь раз зритель увидит в начале спектакля, как Мольер поднимается на сцену так, что мы видим его в профиль. Он идет кошачьей походкой к рампе, как будто подкрадывается, сгибает шею, перьями шляпы метет пол. При его появлении один невидимый человек в зрительном зале начинает аплодировать, а за этим остальные подхватывают, и раздаются громовые рукоплескания. Потом — тишина.

Только семь раз услышит зал пронзительный монолог Мольера: «Ваше… величество… ваше величество. Светлейший государь. (Первые слова он произносит чуть-чуть заикаясь — в

жизни он немного заикается, — но потом его речь выравнивается, и с первых же слов становится понятно, что он на сцене первоклассен. Богатство его интонаций, гримас и движений неисчерпаемо. Улыбка его легко заражает.) Актеры труппы Господина, всевернейшие и всеподданнейшие слуги ваши, поручили мне благодарить вас за ту неслыханную честь, которую вы оказали нам, посетив наш театр. И вот, сир… я вам ничего не могу сказать…» и жесткий ответ Людовика: «Вы не только грязный хулитель религии в ваших произведениях, но вы и преступник, вы — безбожник. Объявляю вам решение по делу о вашей женитьбе: запрещаю вам появляться при дворе, запрещаю играть «Тартюфа». Только с тем, чтобы ваша труппа не умерла с голоду, разрешаю играть в Пале-Рояле ваши смешные комедии, но ничего более. И с этого дня бойтесь напомнить мне о себе! Лишаю вас покровительства короля».

Только семь раз Мольер скажет со сцены о великом самодержце: «Тиран! Всю жизнь я ему лизал шпоры и думал только одно: не раздави. И вот все-таки — раздавил. Тиран! За что? Понимаешь, я сегодня утром спрашиваю его — за что? Не понимаю. Я ему говорю: я, ваше величество, ненавижу такие поступки, я протестую, я оскорблен, ваше величество, извольте объяснить. Извольте… я, быть может, вам мало льстил? Я, быть может, мало ползал?.. Ваше величество, где же вы найдете такого другого блюдолиза, как Мольер?.. Но ведь из-за чего, Бутон? Из-за «Тартюфа». Из-за этого унижался. Думал найти союзника. Нашел! Не унижайся, Бутон! Ненавижу королевскую тиранию! Что еще я должен сделать, чтобы доказать, что я червь? Но, ваше величество, я писатель, я мыслю, знаете ли, я протестую…»

Согласитесь — после таких монологов трудно было завоевывать благосклонность вождя.

Многие МХАТовцы просили драматурга написать «оправдательное письмо», покаяться, переделать и изменить сюжет «Мольера», но Булгаков отказался: «Запятой не переставлю». В своем дневнике 9 сентября 1936 г. Елена Сергеевна отметила: «Из МХАТа М.А. хочет уходить. После гибели «Мольера» М.А. там тяжело: — Кладбище моих пьес».

Словом, все как в финале «Мольера»:

«Лагранж (проходит к себе, садится, освещается зеленым светом, разворачивает книгу, говорит и пишет). «Семнадцатое февраля. Было четвертое представление пьесы «Мнимый больной», сочиненной господином де Мольером. В десять часов вечера господин де Мольер, исполняя роль Аргана, упал на сцене и тут же был похищен без покаяния неумолимой смертью». В знак этого рисую самый большой черный крест. Что же явилось

причиной этого? Что? Как записать?.. Причиной этого явилась немилость короля и черная Кабала!.. Так я и запишу! (Пишет и угасает во тьме)».

Был ли Булгаков гордым человеком? Да, конечно, «Запятой не переставлю!» — это говорит писательская гордость.

И в тоже время, когда его пригласили на работу в Большой театр «консультантом-либреттистом», он согласился. «Из Художественного театра я ушел, — писал Булгаков. — Мне тяжело работать там, где погубили «Мольера». Тесно мне стало в проезде Художественного театра, довольно фокусничали со мной. Теперь я буду заниматься сочинением оперных либретто. Что ж, либретто так либретто!»

Фразу «Что ж, либретто так либретто!» говорит человек, просто не представляющий себя без любимой литературной работы. Пусть такой, ремесленной, не являющейся «высшим пилотажем в искусстве», но работы.

Каким видели и как воспринимали Булгакова его современники? Вот несколько его портретов.

«Какой был Булгаков человек? На это можно ответить сразу. Бесстрашный — всегда и во всем. Ранимый, но сильный. Доверчивый, но не прощающий никакого обмана, никакого предательства. Воплощенная совесть. Неподкупная честь. Все остальное в нем, даже и очень значительное, — уже вторично, зависимо от этого главного, привлекающего к себе как магнит», — писал заведующий литературной частью МХАТа В. Я. Виленкин.

А вот женский взгляд актрисы МХАТа С. С. Пилявской: «Необыкновенно элегантный, подтянутый, со все видящими, все замечающими глазами, с нервным, очень часто меняющимся лицом. Холодный, даже немного чопорный с чужими и такой открытый, насмешливо-веселый и пристально внимательный к друзьям или просто знакомым…»

Работник МХАТа П. А. Марков: «Он был, конечно, очень умен, дьявольски умен и поразительно наблюдателен не только в литературе, но и в жизни. И уж, конечно, его юмор не всегда можно было назвать безобидным — не потому, что Булгаков исходил из желания кого-либо унизить (это было в коренном противоречии с его сущностью), но его юмор, порой, принимал, так сказать, разоблачительный характер, зачастую вырастая до философского сарказма. Булгаков смотрел в суть человека и зорко подмечал не только внешние его повадки, гиперболизируя их в немыслимую, но вполне в вероятную характерность, но, самое главное, — он вникал в психологическую сущность человека. В самые горькие минуты жизни он не терял дара ей

удивляться, любил удивляться…»

С середины 1930-х годов Булгаков обращается к творчеству Гоголя и к биографии Пушкина, пишет либретто. Начинает писать совместно с В. В. Вересаевым, автором биографических хроник «Пушкин в жизни», пьесу «Александр Пушкин». В дальнейшем Вересаев снял свое имя с рукописи, не приняв булгаковской концепции образа Дантеса. Постановку пьесы долго не разрешали. Театр им. Евг. Вахтангова от нее отказался в пользу МХАТа, который показал премьеру через три года после смерти автора — 10 апреля 1943 года с замененным названием «Последние дни», оставив «Александр Пушкин» как подзаголовок.

Сам Булгаков эту пьесу на сцене так и не увидел.

В ноябре 1936 года анонимный информатор ОГПУ НКВД передавал, что Булгаков говорил в домашней беседе: «Я сейчас чиновник, которому дали ежемесячное жалование, пока еще не гонят с места (Большой театр), и надо этим довольствоваться. Пишу либретто для двух опер — исторической и из времени Гражданской войны. Если опера выйдет хорошая — ее запретят негласно, если выйдет плохая — ее запретят открыто. Мне говорят о моих ошибках, и никто не говорит о главной из них: еще с 1929–30 года мне надо было бросить писать вообще. Я похож на человека, который лезет по намыленному столбу только для того, чтобы его стаскивали за штаны вниз для потехи почтеннейшей публики. Меня травят так, как никого и никогда не травили: и сверху, и снизу, и с боков. Ведь мне официально не запретили ни одной пьесы, а всегда в театре появляется какой-то человек, который вдруг советует пьесу снять, и ее сразу снимают.

…Я поднадзорный, у которого нет только конвойных. Что бы ни происходило в стране, результатом всего этого будет продолжение моей травли. Если бы мне кто-нибудь прямо сказал: Булгаков, не пиши больше ничего, а займись чем-нибудь другим, ну, вспомни свою профессию доктора и лечи, и мы тебя оставим в покое, я был бы только благодарен. А может быть, я дурак, и мне это уже сказали, и я только не понял».

На самом деле Булгаков уже все понимал. В 1938 году он закончил работу над машинописной редакцией «Мастера и Маргариты» и писал жене: «Передо мною 327 машинописных страниц (около 22 глав). Если буду здоров, скоро переписка закончится.

Останется самое важное — корректура (авторская), большая, сложная, внимательная, возможно, с перепиской некоторых страниц. «Что будет?» — ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего

будущего.

Свой суд над этой вещью я уже совершил, и если мне удастся еще немножко приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной во тьму ящика. Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому не известно».

Будущие читатели появятся у «этой вещи» не скоро, но они оценят ее! Вынутый из «тьмы ящика» и опубликованный спустя много лет роман «Мастер и Маргарита» станет одним из самых известных романов XX века.

Он занимает особое место в творческой жизни писателя. Более десяти лет Булгаков работал над книгой, которая стала его романом-судьбой, романом-завещанием, романом-триумфом. В «Мастере и Маргарите» есть все: жизненная мудрость и веселое озорство, романтическая любовь и проза быта, магия и глубокий философский подтекст. Это одна из лучших русских книг двадцатого столетия, сделавшая Булгакова классиком. О романе «Мастер и Маргарита» написано невероятно много, а судьба самого романа поистине фантастична.

Американский литературовед М. Крепе писал о «Мастере и Маргарите»: «Роман Булгакова для русской литературы, действительно, в высшей степени новаторский, а потому и нелегко дающийся в руки. Только критик приближается к нему со старой стандартной системой мер, как оказывается, что кое-что так, а кое-что совсем не так. Фантастика наталкивается на сугубый реализм, миф на скрупулезную историческую достоверность, теософия на демонизм, романтика на клоунаду». В романе соединились весьма органично едва ли не все существующие в мире жанры и литературные направления.

Время начала работы над «Мастером и Маргаритой» Булгаков в разных рукописях датировал то 1928-м, то 1929 годом. В первой редакции роман имел несколько вариантов названия: «Черный маг», «Копыто инженера», «Жонглер с копытом», «Сын В.», «Гастроль». Эта первая редакция «Мастера и Маргариты» была уничтожена автором в марте 1930 года после получения известия о запрете пьесы «Кабала святош» (Мольер). Об этом он сообщил в письме правительству:

«И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе…»

Работа над «Мастером и Маргаритой» возобновилась в 1931 году. К роману были сделаны черновые наброски, в которых уже появились Маргарита и ее тогда еще безымянный спутник — будущий Мастер, а Воланд обзавелся свитой.

Вторая редакция, создававшаяся до 1936 года, имела

подзаголовок «Фантастический роман» и варианты названий «Великий канцлер», «Сатана», «Вот и я», «Черный маг», «Копыто консультанта».

Третья редакция, начатая во второй половине 1936 года, первоначально называлась «Князь тьмы», а потом, в 1937 году, появилось знаменитое теперь заглавие «Мастер и Маргарита».

Откуда появилось имя Маргарита?

Вероятно, оно связано с Маргаритой Петровной Смирновой, с которой у Булгакова в тридцатые годы был короткий платонический роман. Спустя почти 60 лет, весной 1986 года, она написала свои воспоминания о встрече с Булгаковым.

В них Смирнова рассказывает, как она однажды приехала с дачи в Москву, бродила по городу, купила цветы, наслаждалась хорошей погодой. К ней обратился мужчина, который что-то спросил о цветах. Она ответила, что он напрасно тратит время. Но мужчина попросил ее минуту помедлить, чтобы можно было представиться. Он снял головной убор, очень почтительно, своеобразно поклонился и произнес: «Михаил Булгаков».

«Я сразу почувствовала, что это хорошо воспитанный, незаурядный человек, — пишет Маргарита Петровна. — Сейчас я не могу вспомнить, знала ли я тогда «Дни Турбиных» Булгакова. Конечно, об этой постановке говорилось много, разговоры шли повсюду, но в ту пору я эту вещь еще не видела. Тогда мне и в голову не пришло, что этот самый человек — автор «Дней Турбиных». От своего отца я могла слышать о Булгакове как об одном из приближенных Толстого, да и дальнейший разговор убедил меня, что он, очевидно, работает в архивах Толстого либо пишет его биографию. Это была моя непоправимая, просто ужасная ошибка. Все могло сложиться иначе, знай я, что мой новый знакомый — автор «Дней Турбинных»».

Маргарита Петровна вспоминает, что после первых же фраз говорить с Булгаковым стало необыкновенно легко, товарищески просто, как будто они долго знали друг друга, как будто вчера только расстались: «Михаил Афанасьевич необыкновенно живо, увлекательно отвечал на все мои литературные вопросы, а вопросов я ему задавала много, так как почувствовала, что наконец-то встретила человека, который сумеет ответить на все, как, бывало, отвечал мой отец. Только иногда быстро вскинет голову, удивленно посмотрит на меня, скажет: «А почему это вас интересует? Ого, вы это читали? Изумительно!» Помню, уже в конце дня он спросил меня: «Маргарита Петровна, вы читали Библию?» Я ответила: «Только мне этого и не хватало!» «Вы еще будете ее читать!» Мы долго ходили и стояли на набережной. От Москвы-реки дул ветер. Я сказала, что люблю подставить лицо

под теплый ветер, рассказала, как приятно было стоять на катере, быстро мчавшемся по морю в Сочи или в Севастополе, отдавшись ветру. Я помню, какими сияющими глазами смотрел на меня Михаил Афанасьевич, когда я говорила о теплом ветре там, на набережной, это был суровый, тяжелый 1938 год, когда события наслаивались одно неприятнее другого. Не до мечты было. Не встретились».

Реальная Маргарита отказалась от встреч с Булгаковым. Прощаясь, он сказал ей: «Ну, вот вы какая! Но, Маргарита Петровна, если вы когда-нибудь захотите меня увидеть, вы меня всегда найдете. Запомните только — Михаил Булгаков. А я вас никогда не смогу забыть!»

На страницах романа отразились воспоминания об этой встрече, а главное — Булгаков дал героине имя Маргарита.

В октябре 1937 года Е. С. Булгакова отметила в своем дневнике: «У Михаила Афанасьевича из-за всех этих дел по чужим и своим либретто начинает зреть мысль — уйти из Большого театра, выправить роман, представить его наверх».

Булгаков спешил завершить роман, поскольку чувствовал, что здоровье его становится все хуже и хуже. На одной из страниц рукописи «Мастера и Маргариты» им сделана короткая запись: «Дописать, прежде чем умереть!»

Наиболее активная работа над романом шла весной 1938 года. В дневнике Елены Сергеевны появились такие записи: «Миша урывками правит роман», «Миша днем у Ангарского, сговаривается почитать начало романа. Теперь, кажется, установилось у Миши название — «Мастер и Маргарита». Печатание его, конечно, безнадежно. Теперь Миша по ночам правит его и гонит вперед, в марте хочет кончить».

В апреле и мае Булгаков читает друзьям отдельные главы романа. «Чтение произвело громадное впечатление, — записала в дневнике Елена Сергеевна. — Было очень много ценных мыслей… исключительно заинтересовали и покорили слушателей древние главы. Всех поразило необычайное знание М.А. эпохи. Но как он сумел это донести!» Елена Сергеевна так передает настроение слушателей: «Последние главы слушали почему-то закоченев. Все их испугало. Паша в коридоре меня испуганно уверял, что ни в коем случае подавать нельзя — ужасные последствия могут быть. Звонил и заходил Файко — говорит, что роман пленителен и тревожащ. Что хочет много спрашивать, говорить о нем… Ангарский сразу определил: «А это напечатать нельзя»».

Когда наступил 1939 год, Булгаков стал говорить приходившим в дом друзьям: «Ну, вот пришел мой последний год». Он мог сказать за столом среди самого веселья: «Да, вам

хорошо, вы все будете жить, а я скоро умру». Булгаков действительно заболел в 1939-м — выяснилось, что у него нефросклероз, болезнь, которая унесла жизнь его отца.

Елена Сергеевна писала в дневнике: «Когда в конце болезни он уже почти потерял речь, у него выходили иногда только концы или начала слов. Был случай, когда я сидела около него, как всегда, на подушке, на полу, возле изголовья его кровати, он дал мне понять, что ему что-то нужно, что он чего-то хочет от меня. Я предлагала ему лекарство, питье — лимонный сок, но поняла ясно, что не в этом дело. Тогда я догадалась и спросила: «Твои вещи?» Он кивнул с таким видом, что и «да», и «нет». Я сказала: «Мастер и Маргарита»? Он, страшно обрадованный, сделал знак головой, что «да, это». И выдавил из себя два слова: «чтобы знали, чтобы знали».

Считается, что слова Воланда «Рукописи не горят» и воскресение из пепла «романа в романе» — это иллюстрация широко известной латинской пословицы: «Verba volant, scripta manent». В переводе она звучит так: «Слова улетают, написанное остается».

Но «Рукописи не горят» — лучше! Мы — знаем.

Роман «Мастер и Маргарита» стал для Булгакова Реквиемом, вобравшим в себя все идеи и помыслы писателя, так или иначе звучавшие в более ранних произведениях. Он полифоничен, насыщен сложной философской и нравственной проблематикой, охватывает широкий круг тем. В романе остро поставлены вопросы о смысле человеческой жизни, об истине, справедливости, о назначении искусства, о добре и зле — общечеловеческих проблемах гуманизма. Оригинальная философская концепция романа сочетается у Булгакова с острой политической сатирой.

Роман «Мастер и Маргарита» остается современным, потому что каждому следующему поколению читателей он открывается своими новыми гранями.

Многие фразы из «Мастера и Маргариты» стали крылатыми: «…Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!», «Брал, но брал нашими, советскими!», «Квартирный вопрос только испортил их», «Маэстро! Урежьте марш!», «Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?», «Осетрина второй свежести», «Подумаешь, бином Ньютона!», «Я буду молчаливой галлюцинацией», «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус», «Не при валюте мы сегодня». «Помилуйте, королева, разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!»

При написании романа Булгаков пользовался несколькими философскими теориями — на них были основаны некоторые

композиционные моменты романа, а также мистические эпизоды и эпизоды ершалаимских глав. Исследователи творчества писателя отмечают, что, совмещая три плана действия: историко-легендарный (Древняя Иудея), современно-бытовой (Москва 1930-х годов) и мистико-фантастический, Булгаков создал своеобразную форму философского романа, где поставлены вечные проблемы добра и зла, истинной нравственности. Он показывает взаимодействие трех миров: космического, человеческого и библейского. Каждый из этих трех миров имеет две сущности: видимую и невидимую, и все три мира сотканы из добра и зла. Добро просто не может существовать без зла — тогда люди не будут знать, что это добро. Как сказал Воланд Левию Матвею: «Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли все тени?» Должно быть некое равновесие между добром и злом.

В «Мастере и Маргарите» ярко прорисован мир обычных людей современной Булгакову Москвы. С описания этого мира, собственно, и начинается роман. Читатель видит, как «В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан. Первый из них — приблизительно сорокалетний, одетый в серенькую летнюю пару, — был маленького роста, темноволос, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке — был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках».

Привычно звучит и дальнейший диалог у пестро раскрашенной будочки с надписью «Пиво и воды».

«— Дайте нарзану, — попросил Берлиоз.

— Нарзану нету, — ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.

— Пиво есть? — сиплым голосом осведомился Бездомный.

— Пиво привезут к вечеру, — ответила женщина.

— А что есть? — спросил Берлиоз.

— Абрикосовая, только теплая, — сказала женщина.

— Ну давайте, давайте, давайте!..

Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной».

А через несколько страниц возникает совсем другой мир, в котором иные герои и иные диалоги. «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром

четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожаного снаряжения и пота от конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая когорта Двенадцатого Молниеносного легиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый запах.

«О боги, боги, за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнений, это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь… гемикрания, при которой болит полголовы… от нее нет средств, нет никакого спасения… попробую не двигать головой…»

Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:

— Приведите обвиняемого.

Голос отвечавшего, казалось, колол Пилату в висок, был невыразимо мучителен, и этот голос говорил:

— Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.

— Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?

И тут прокуратор подумал: «О боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде. Мой ум не служит мне больше…» И опять померещилась ему чаша с темною жидкостью. «Яду мне, яду!»

И вновь он услышал голос:

— Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет…»

Роман Булгакова и читателей и критиков поражал своей необычностью. Представляя роман при первой публикации в журнале «Москва», Константин Симонов подчеркивал: «Резкость

переходов от безудержной фантасмагории к классически отточенной, экономной реалистической прозе и от этой прозы, без всяких пауз — к свирепому сатирическому гротеску, к щедрому и буйному юмору даже как-то ошеломляет…», «В романе есть страницы, представляющие собой вершину булгаковской сатиры, и вершину булгаковской фантастики, и вершину булгаковской строгой реалистической прозы».

«Читая «Мастера и Маргариту», — пишет Евгений Сидоров, — порой ощущаешь, будто тени Гофмана, Гоголя и Достоевского бродят неподалеку. Отзвуки легенды о Великом инквизиторе звучат в евангельских сценах книги. Фантастические мистерии в духе Гофмана преображены русским характером и, утратив черты романтической мистики, становятся горькими и веселыми, почти бытовыми. Музыка гоголевской прозы возникает как лирический знак трагизма, когда течение романа устремляется к последнему пределу: «Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его».

При всем стилевом и художественном многообразии роману Булгакова присуща внутренняя цельность и гармоничное взаимодействие картин, особая атмосфера высокой культуры и чистоты русского языка.

П. А. Николаев так пишет о художественном многообразии романа Булгакова: «Трудно найти в мировой литературе подобное смешение стилей. Булгаков, связав времена, соединил и самые, казалось бы, взаимоисключающие свойства и формы бытия. Величавая патетика, нежнейшие интонации, дикий, скрежещущий хохот и разбойничий свист, канцелярско-лакейское подобострастие, культ вечного и сиюминутное «животоутробие» (щедринское слово), дремучее суеверие и мудрое всеведение, красота мира и его сор и кровь, музыка и болезненные вскрики, — все выставлено в романе на обозрение и просит быть услышанным…»

Одна из литературных и психологических вершин романа — это диалог Пилата с Афранием, который начинается со служебных вопросов (настроение в Ершалаиме после казни Иешуа, выяснение, кто такой Иуда и чем он занимается), а затем становится уникальным образцом иносказания и понимания этого иносказания.

«…Тут прокуратор умолк, оглянулся, нет ли кого на балконе,

и потом сказал тихо: — Так вот в чем дело — я получил сегодня сведения о том, что его зарежут этой ночью.

Здесь гость не только метнул свой взгляд на прокуратора, но даже немного задержал его, а после этого ответил:

— Вы, прокуратор, слишком лестно отзывались обо мне. По-моему, я не заслуживаю вашего доклада. У меня этих сведений нет.

— Вы достойны наивысшей награды, — ответил прокуратор, — но сведения такие имеются.

— Осмелюсь спросить, от кого же эти сведения?

— Позвольте мне пока этого не говорить, тем более что они случайны, темны и недостоверны. Но я обязан предвидеть все. Такова моя должность, а пуще всего я обязан верить своему предчувствию, ибо никогда еще оно меня не обманывало. Сведение же заключается в том, что кто-то из тайных друзей Га-Ноцри, возмущенный чудовищным предательством этого менялы, сговаривается со своими сообщниками убить его сегодня ночью, а деньги, полученные за предательство, подбросить первосвященнику с запиской: «Возвращаю проклятые деньги».

Больше своих неожиданных взглядов начальник тайной службы на игемона не бросал и продолжал слушать его, прищурившись, а Пилат продолжал:

— Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную ночь получить подобный подарок?

— Не только не приятно, — улыбнувшись, ответил гость, — ноя полагаю, прокуратор, что это вызовет очень большой скандал.

— И я сам того же мнения. Вот поэтому я прошу вас заняться этим делом, то есть принять все меры к охране Иуды из Кириафа.

— Приказание игемона будет исполнено, — заговорил Афраний, — но я должен успокоить игемона: замысел злодеев чрезвычайно трудно выполним. Ведь подумать только, — гость, говоря, обернулся и продолжал: — Выследить человека, зарезать, да еще узнать, сколько получил, да ухитриться вернуть деньги Кайфе, и все это в одну ночь? Сегодня?

— И тем не менее его зарежут сегодня, — упрямо повторил Пилат, — у меня предчувствие, говорю я вам! Не было случая, чтобы оно меня обмануло, — тут судорога прошла по лицу прокуратора, и он коротко потер руки.

— Слушаю, — покорно отозвался гость, поднялся, выпрямился и вдруг спросил сурово: — Так зарежут, игемон?

— Да, — ответил Пилат, — и вся надежда только на вашу изумляющую всех исполнительность.

Гость поправил тяжелый пояс под плащом и сказал:

— Имею честь, желаю здравствовать и радоваться.

— Ах да, — негромко вскричал Пилат, — я ведь совсем и забыл! Ведь я вам должен!.. Гость изумился.

— Право, прокуратор, вы мне ничего не должны.

— Ну как же нет! При въезде моем в Ершалаим, помните, толпа нищих… я еще хотел швырнуть им деньги, а у меня не было, и я взял у вас.

— О, прокуратор, это какая-нибудь безделица!

— И о безделице надлежит помнить.

Тут Пилат обернулся, поднял плащ, лежащий на кресле сзади него, вынул из-под него кожаный мешок и протянул его гостю. Тот поклонился, принимая его, и спрятал под плащ.

— Я жду, — заговорил Пилат, — доклада о погребении, а также и по этому делу Иуды из Кириафа сегодня же ночью, слышите, Афраний, сегодня. Конвою будет дан приказ будить меня, лишь только вы появитесь. Я жду вас!

— Имею честь, — сказал начальник тайной службы и, повернувшись, пошел с балкона».

Заказывая убийство Иуды, Пилат ювелирно ведет свою игру, достигая своей цели. Булгаков считает, что есть преступления страшнее, чем трусость, — это предательство.

Роман «Мастер и Маргарита» был для Булгакова долгим прощанием и творческим завещанием. Он как музыкальное произведение, в котором медленно обозначалась и выверялась музыка слова и мысли. Елена Сергеевна об этой предсмертной работе вспоминала: «Он часто останавливал меня и просил перечитать написанное. Диктовал довольно быстро, предложения гладко ложились на бумагу. Но прочитанным часто оставался недоволен. «Не так», — говорил он. «Почему не так? Ведь хорошо написано». «Нет, не хорошо. Музыки нет»».

Булгаков никогда не фальшивил, у него был идеальный музыкальный слух, свой внутренний нравственный камертон. Он говорил: «Фальшивое произведение искусства может удержаться, и надолго, с помощью разных способов пропаганды, тогда как истинное может пребывать в долгом забвении с помощью простого умолчания. Но поздно или рано все становится на свое место. Время развенчивает фальшивые произведения и дутые репутации и скатывает ложную славу, как пыльную дорожку».

Как он все угадал!

Но кроме «Мастера и Маргариты» в последние годы своей жизни Булгаков написал еще одно произведение — пьесу «Батум», сыгравшую, как и главный герой этой пьесы, роковую роль в его судьбе.

В сентябре 1938 года руководство МХАТа обратилось к Михаилу Афанасьевичу с просьбой написать пьесу о Сталине.

Впереди был юбилейный год в жизни вождя, театр хотел откликнуться на это событие. Писатель дал согласие, потому что личность Сталина привлекала к себе внимание многих творческих умов, и Булгаков долгие годы вел со Сталиным некий внутренний диалог.

Сложные отношения с властью привели его к решению написать пьесу о вожде. Возможно, она была для Булгакова попыткой хоть таким образом поговорить с ним. На это решение повлияла и Елена Сергеевна, которая была заинтересована в написании пьесы. Ей хотелось, чтобы муж был востребован театром, активно работал, нашел с властью общий язык. Елене Сергеевне непросто было уговорить Булгакова взяться за эту работу, но ей помогли МХАТовские знакомые, предрекая успешную постановку пьесы на сцене МХАТа.

Оснований для таких оптимистических настроений было достаточно. Большинство литераторов уже отрапортовали партии и народу о своей преданности вождю: ему посвящались романы, стихи, поэмы, и это, собственно, никого не удивляло. Как только Булгаков сказал о начале работы, это вызвало большой интерес, театры наперебой просили еще не написанную пьесу, она была необходима им в преддверии празднования 60-летия вождя, которое готовились отмечать 21 декабря 1939 года.

Булгаков сомневался, принимая решение о написании пьесы, он говорил В. Я. Виленкину: «Нет, это рискованно для меня. Это плохо кончится». Было очевидно, что судьбу такой пьесы решит единолично сам прототип основного персонажа, важным было, понравится ли пьеса вождю или нет, сочтет ли он необходимой ее постановку. Рисковали и театр и драматург, но, понятно, Булгаков рисковал больше всех.

Первоначально пьеса называлась «Пастырь», затем — «Батум», потому что главным источником для написания послужила книга «Батумская демонстрация 1902 года», содержавшая документы и воспоминания, рассказывающие о первых шагах Сталина по руководству революционным движением в Закавказье.

Сама атмосфера вокруг пьесы «Батум» была радостно возбужденная. Во МХАТе распределялись роли и обсуждались сценические костюмы. Все сходились на том, что главная роль будет отдана Хмелеву, ведь Сталин говорил ему: «Вы хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши бритые усики. Забыть не могу».

Пьеса была закончена в рекордный срок. Состоялась читка «Батума» в театре. По свидетельству М. О. Чудаковой, Елена Сергеевна рассказывала: «Когда подъехали к театру — висела

афиша о читке «Батума», написанная акварелью, вся в дождевых потеках. «Отдайте ее мне! — сказал Миша Калишьяну. «Да что вы, зачем она вам? Знаете, какие у вас будут афиши? Совсем другие!» «Других я не увижу».

Пьесу отослали в секретариат Сталина, была создана бригада из МХАТовцев для поездки в Тифлис и Батум, в нее был включен и Булгаков. Но когда поезд остановился в Серпухове, в вагон вошла женщина-почтальон и вручила писателю телеграмму. Текст ее был кратким: «Надобность поездке отпала возвращайтесь Москву».

Главный герой пьесы, уже одобренной в Комитете по делам искусств, категорически высказался против ее постановки. Вождь сказал, что «пьесу «Батум» он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить».

17 августа 1939 года к Булгакову на квартиру пришли руководящие деятели МХАТа В. Г. Сахновский и В. Я. Виленкин. Согласно записи Е. С. Булгаковой, Сахновский заявил, что «театр выполнит все свои обещания, то есть — о квартире, и выплатит все по договору».

Дело в том, что МХАТ, агитируя Булгакова писать пьесу о Сталине, обещал добиться для него лучшей квартиры — к сожалению, «квартирный вопрос» волновал писателя до конца жизни. Выполнить это обещание театр не успел, а деньги по договору честно выплатил. Сахновский также сообщил: «Пьеса получила наверху резко отрицательный отзыв: нельзя такое лицо, как И. В. Сталин, делать романтическим героем, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова. Пьесу нельзя ни ставить, ни публиковать. Наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгаковым как на желание перебросить мост и наладить отношение к себе».

Булгакову передавали и более пространный сталинский отзыв о его пьесе: «Все дети и все молодые люди одинаковы. Не надо ставить пьесу о молодом Сталине».

Вождь по каким-то причинам не желал видеть на сцене себя молодым. Для мифа требовался образ уже умудренного жизнью человека, лидера великой страны. Для этой цели лучше всего годилась фигура Сталина конца 1920-х — начала 1930-х годов, когда он уже достиг «высшей власти». Молодой Иосиф Джугашвили в этом качестве для мифа не годился.

Немного оправившись от несостоявшейся поездки в Грузию по поводу «Батума», 10 сентября 1939 года Булгаковы поехали отдохнуть в Ленинград. Здесь писатель внезапно почувствовал, что теряет зрение. Вернувшись в Москву, Михаил Афанасьевич слег — уже до конца своих дней.

«Я пришел к нему в первый же день после их приезда, — вспоминал близкий друг писателя, драматург Сергей Ермолинский. — Он был неожиданно спокоен. Последовательно рассказал мне все, что с ним будет происходить в течение полугода — как будет развиваться болезнь. Он называл недели, месяцы и даже числа, определяя все этапы болезни. Я не верил ему, но дальше все шло как по расписанию, им самим начертанному. Когда он меня звал, я заходил к нему. Однажды, подняв на меня глаза, он заговорил, понизив голос и какими-то несвойственными ему словами, словно стесняясь:

— Чего-то я хотел тебе сказать. Понимаешь. Как всякому смертному, мне кажется, что смерти нет. Ее просто невозможно вообразить. А она есть».

Валентин Катаев рассказывал, как навестил Булгакова незадолго до его смерти: «Он (Булгаков) сказал по своему обыкновению:

— Я стар и тяжело болен.

На этот раз он не шутил. Он был действительно смертельно болен и как врач хорошо это знал. У него было измученное землистое лицо. У меня сжалось сердце.

— К сожалению, я ничего не могу вам предложить, кроме этого, — сказал он и достал из-за окна бутылку холодной воды. Мы чокнулись и отпили по глотку. Он с достоинством нес свою бедность.

— Я скоро умру, — сказал он бесстрастно.

Я стал говорить то, что всегда говорят в таких случаях — убеждать, что он мнителен, что он ошибается.

— Я даже могу вам сказать, как это будет, — прервал он меня, не дослушав. — Я буду лежать в гробу, и, когда меня начнут выносить, произойдет вот что: так как лестница узкая, то мой гроб начнут поворачивать и правым углом он ударится в дверь Ромашова, который живет этажом ниже.

Все произошло именно так, как он предсказал. Угол его гроба ударился в дверь драматурга Бориса Ромашова…»

Булгаков умер 10 марта 1940 года.

Через 20 лет Елена Сергеевна писала о Михаиле Афанасьевиче: «Он умирал так же мужественно, как и жил… не всякий выбрал бы такой путь. Он мог бы, со своим невероятным талантом, жить абсолютно легкой жизнью, заслужить общее признание. Пользоваться всеми благами жизни. Но он был настоящий художник — правдивый, честный. Писать он мог только о том, что знал, во что верил. Уважение к нему всех знавших его или хотя бы только его творчество — безмерно. Для многих он был совестью. Утрата его для каждого, кто

соприкасался с ним, — невозвратима».

Организацию гражданской панихиды и похорон взял на себя Литфонд Союза писателей с привлечением МХАТа и ГАБТа, последнего места работы Булгакова. 11 марта состоялась гражданская панихида в здании Союза советских писателей на Поварской улице.

В речи одного из руководителей МХАТа В. Г. Сахновского были такие слова: «… Художественный театр знает, что искусство сильнее смерти — и для нас Михаил Афанасьевич есть подлинный рыцарь искусства. Мы видим его для нас как художника сложного, острого, мудрого, доброго. И его утрата для нас, конечно, необыкновенно тяжела. Но мы не прощаемся с ним, не расстаемся…»

А в доме Булгакова, посреди безмолвного горя и страшной обыденности похорон, требовательно, словно из другого мира, зазвонил телефон. Подошел друг покойного, Сергей Ермолинский. Звонили из секретариата Сталина: «Правда ли, что умер товарищ Булгаков?» — «Да, он умер». На другом конце провода помолчали и положили трубку.

15 марта в «Литературной газете» появились фотография и некролог: «Умер Михаил Афанасьевич Булгаков — писатель очень большого таланта и блестящего мастерства…» Подпись была одна, коллективная — «Президиум Союза советских писателей».

Тогда же глава ССП А. Фадеев прислал Е. С. Булгаковой письмо, в котором были такие строки: «…Мне сразу стало ясно, что передо мной человек поразительного таланта, внутренне честный и принципиальный и очень умный — с ним, даже с тяжело больным, было интересно разговаривать, как редко бывает с кем. И люди политики, и люди литературы знают, что он — человек, не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, что его путь был искренен, органичен, а если в начале своего пути (а иногда и потом) он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом нет ничего удивительного. Хуже было бы, если бы он фальшивил».

Похоронили Булгакова на Новодевичьем кладбище неподалеку от могил Чехова и известных актеров МХАТа, на МХАТовском участке, среди вишневых деревьев в Старой части кладбища.

После смерти мужа Елена Сергеевна сделала почти невозможное. Ее великой заслугой является сохранение архива Булгакова — многие рукописи, хранившиеся в одном-единственном экземпляре, она успела перепечатать. Благодаря ее невероятной энергии после смерти Михаила Афанасьевича смогли увидеть свет многие до того неизданные его произведения

— главным из которых является роман «Мастер и Маргарита».

Друг Булгакова Павел Попов, неоднократно слушавший в его чтении отдельные главы романа, но впервые прочитавший роман полностью уже после смерти писателя, в декабре 1940 года, написал Елене Сергеевне под свежим и острым впечатлением узнавания: «Ведь Маргарита… это Вы…»

Своего Мастера она пережила на тридцать лет. Тридцать лет нетерпеливого, страстного ожидания признания его таланта.

«Я знаю, я твердо знаю, — пишет Елена Сергеевна в письме к Николаю Булгакову в Париж, — что скоро весь мир будет знать это имя. Я делаю все, что только в моих силах, для того, чтобы не ушла ни одна строчка, написанная им, чтобы не осталась неизвестной его необыкновенная личность. Это — цель, смысл моей жизни. Я обещала ему многое перед смертью, и я верю, что я выполню все».

Она настойчиво добивалась публикаций произведений Булгакова, неоднократно обращалась в самые высокие инстанции, в том числе лично к И. В. Сталину. Так, в июле 1946 года она писала: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович! В марте 1930 года Михаил Булгаков написал Правительству СССР о своем тяжелом писательском положении. Вы ответили на это письмо своим телефонным звонком и тем продлили жизнь Булгакова на 10 лет. Умирая, Булгаков завещал мне написать Вам, твердо веря, что Вы захотите решить и решите вопрос о праве существования на книжной полке собрания сочинений Булгакова».

Но Сталин не ответил на ее письмо.

Первый сборник, в который вошли две пьесы Булгакова — «Дни Турбиных» и «Александр Пушкин», Елене Сергеевне удалось издать только после смерти Сталина, в 1955 году. А весной 1962 года началось медленное, трудное, но уже неотвратимое возвращение Булгакова в литературу: выходит в свет книга «Жизнь господина де Мольера», сборник булгаковских пьес «Дни Турбиных», «Последние дни (Александр Пушкин)», «Бег», «Кабала святош (Мольер)», булгаковский «Дон Кихот». Позже Елена Сергеевна добилась публикации «Театрального романа» и «Мастера и Маргариты», переиздания в полном виде «Белой гвардии», «Записок юного врача», издания большинства пьес.

В 1967 году роман «Мастер и Маргарита» вышел за рубежом — полностью, без купюр. Михаил Булгаков вошел в мировую литературу.

Елена Сергеевна передала обширный булгаковский архив в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина (ныне Российская государственная библиотека) и в Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом).

«Несмотря на все, несмотря на то, что бывали моменты черные, — писала Елена Сергеевна в 1950-е годы, — совершенно страшные, не тоски, а ужаса перед неудавшейся литературной жизнью, если вы мне скажете, что у нас, у меня была трагическая жизнь, я вам отвечу: нет! Ни одной секунды. Это была самая светлая жизнь, какую только можно себе выбрать, самая счастливая. Счастливее женщины, какой я тогда была, не было…»

Она умерла 18 июля 1970 года и похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с Михаилом Афанасьевичем.

Елене Сергеевне не суждено было увидеть новый взлет интереса к Булгакову, который начался после 1985 года на волне происходивших в стране перемен. Возвращение его творчества к читателю стало поистине триумфальным. Десятки театров ставили его пьесы, переиздавалась его проза, публиковались ранние фельетоны, черновые редакции и наброски, письма и дневники.

Современные тиражи книг Булгакова исчисляются миллионами экземпляров. Объем исследовательской и мемуарной литературы о писателе громаден, сотни книг посвящены анализу его творческого наследия, выпущена специальная «Булгаковская энциклопедия», созданы булгаковские сайты в Интернете.

Булгаков становится для нас все ближе и все необходимее. Про него можно сказать словами, обращенными к его любимому драматургу Мольеру: «Для его славы ничего не нужно, он нужен для нашей славы».